СИБИРЬ

2/91

Ким БАЛКОВ.
Милосердие

Протоиерей
Евгений КАСАТКИН.
Кронштадтский светильник

Н. А. СОКОЛОВ.
Убийство царской семьи


Ѡбразъ новому
за Хрїста смерть
ІС ХС
чениковъ росiйскихъ
прїявшихъ

СИБИРЬ

2'91

Журнал писателей Восточной Сибири

Учредитель: Союз писателей РСФСР

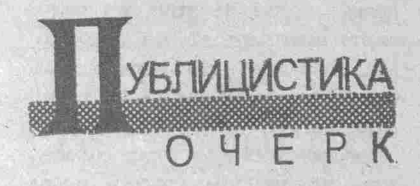
Выходит 6 раз в год

Основан в 1930 году

СОДЕРЖАНИЕ

Иркутск Восточно-Сибирское книжное издательство

ISSN 5-7424-0385-2



Геннадий Русских

ЗАЩИТИ ДОМ СВОЙ

Рушат дом. Трое дюжих мужиков в пыльных спецовках налегают на железные ломы-гвоздодеры, подсовывают их под доски обшива, которые отдираются с трудом, хрустом и скрежетом и даже не столько отдираются, сколько ломаются. Да, на совесть делали в старину, с кондачка тут не одолеешь, попыхтеть придется. Мужики коротко перекуривают и с новым ожесточением кидаются на приступ дома. И все же ломать не строить, дело хоть и туго, но идет.

А дом-то старинный, второго такого нет в городе. Интересно, сколько же он простоял? Кто строил его? Купец, мещанин? Хотя кем бы он ни был, видно, нужен был ему дом не только для того, чтобы укрывать от непогоды свое грешное тело. Иначе не пошла бы по фасаду замысловатая вязь деревянной резьбы, поскромней бы выглядели наличники, не появились бы парадные двери и высокое крыльцо.

Падает к ногам крошево резных кружев. Поднимаю потрескавшийся от многолетья деревянный завиток, машинально провожу пальцами по сквозному пропилу. Увы, время берет свое. Сколько же лет защищал этот дощатый резной обшив от непогоды главный сруб? Впрочем, какая разница, все равно уже ничего не изменишь...

Невольно ловлю себя на мысли, что вот так же, наверное, проводил рукой по узорочью, любуясь своей работой, отстоящий от меня на полтора столетия безвестный, потерянный в поколениях деревянных дел мастер. О чем он думал в тот момент? Предвидел ли конец своего творения именно таким, памятуя древнюю истину—ничто не вечно под луной...

И в самом деле — ломать не строить. Уже полетели одно за другим с грохотом и пылью к подножью дома толстые, точно литые, пронумерованные свежей масляной краской бревна. Поднаторели мы в последнее время в ломке. Хотя нет худа без добра. Скоро эти могутные бревна

лягут в срубы дач, банек, а оставшееся — распиленное и расколотое — в поленницы. Практичный нынче народ пошел. Как любят теперь выражаться, на ходу подметки рвет, палец в рот не клади — так ручищу-то по локоть и оттяпает. А уж купленный за бесценок памятник архитектуры разнесет вдребезги.

Впрочем, вправе ли я судить кого-либо? Может, и в самом деле справедливо присловье: все, что ни делается, делается к лучшему? Ну, снесут этот дом, пусть и памятник деревянной архитектуры, зато поставят на его место громадную девятиэтажку — для людей ведь польза. Вот только простоит ли эта девятиэтажка столько же, сколько простоял этот дом? Кое-где панельные дома уже рассыпаются, как карточные домики, не прослужив и полсотни лет.

Но даже дело и не в этом. Вызывало непонимание другое: на моих глазах рушили не просто дом, рушили живой человеческий мир, жилище — очаг, хранилище семейных тайн, традиций, уклада. В битом кирпиче, я подметил, валялись припорошенные пылью детские игрушки, кухонная утварь, старые книги, рамки для фотокарточек, изуродованная старая мебель. Еще вчера здесь жили люди, сегодня по этому месту пройдется бульдозерная лопата.

Я никак не мог постигнуть одного: у меня на глазах рушили крепкое, добротное жилье, красивое, способное служить человеку еще много лет, с одной лишь целью, чтобы на этом же самом месте построить то же самое жилье. Парадокс. Ну, можно было бы понять, если бы сносили старую, ветхую лачугу. А тут ведь замечательный дом. Если справедлива истина, что красота познается в сравнении и разнообразии, то Иркутск в осмыслении прекрасного в данном случае пошел по ложному пути. Но это одна сторона медали, внешняя, где действуют лишь неодушевленные категории. А как быть с людьми?

Знаю одну старушку, которая много раз ходила в исполком горсовета и многожды упрашивала не сносить ее дом. Снесли ведь. И глазом не моргнули. И даже строго попеняли заплаканной старухе, что, мол, такая вот вы, бабуся, ретроградная, что дальше своего носа или, уж на крайний случай, своего огородика ничего-то и не видите, какое светлое будущее готовим мы народу. Мол, тут пострадаете вы одна, зато сотня-другая народу получат полный набор коммунальных удобств.

Казалось бы, благородная миссия — облагодетельствовать многих на несчастье одного. Великий классик говорил устами своего героя: «Дело крепко, когда под ним струится кровь». Сколько раз замешивали на ней раствор под фундаменты светлого будущего. И что там несчастье какой-то старухи или жильцов бывшего архитектурного памятника по сравнению с могучим гражданским порывом просвещенных архитекторов облагодетельствовать

человечество. Но сначала разрушить мир до основанья...

Однако задумываемся ли когда, что мы теряем при этом? В технократической страсти устройства коммунального общежития, увлекаясь зачастую мнимой экономической выгодой, забываем мы о более высоких ценностях. Пренебрежение прошлым рождает уродливые явления в нашей действительности.

Весной прошлого года общественность Иркутска была взбудоражена чудовищным случаем: покончил жизнь самоубийством Иван Иванович Бехтольд, ссыльный немец, пенсионер, много лет проработавший на Лисихинском кирпичном заводе. Это предприятие и выделило Бехтольду двадцать лет назад добротный коттедж как лучшему бульдозеристу. Жил-поживал в доме Иван Иванович, растил детей, внуков и не думал не гадал, что беда, в лице административной системы, готовит ему адский подарочек: Бехтольда вместе с семьей выселили из коттеджа, который по плану генеральной застройки попал под привычное для иркутян дело — снос. Сколько ни бился пенсионер, сколько ни обивал пороги различных городских и областных учреждений, не помогло. И тогда...

Сын Бетхольда написал в редакцию областной газеты: «...Мой отец покончил жизнь самоубийством. Причина смерти — квартирный вопрос. Сейчас много говорится и пишется об индивидуальном строительстве, о том, что каждая семья должна иметь квартиру. О том, что старики должны жить рядом с детьми. Моего отца всего этого лишили... И коттеджи, прекрасные коттеджи в центре города сносят...» («Вост.-Сиб. правда», 1989, 4 апреля).

Увы, это так, сносят до сих пор. Журналистка областной газеты, описавшая этот случай, основную причину трагедии усмотрела в «дефиците человечности» и у чиновников и просто у жителей, в окружении которых жил Бехтольд. Что ж, обвинение справедливое, хоть и достаточно универсальное.

Мне кажется, причины здесь более глубоки, некоторые из них можно конкретизировать. Ведь не родился же этот самый дефицит на голом месте, наверняка он имеет свой фундамент и тех «творцов», которые его когда-то закладывали. Можно было бы в самом начале разговора задаться вот такими вопросами: что же еще, кроме дефицита человечности, является мощным оружием в руках административной системы? И не повторится ли старая трагедия, но теперь уже не на Донской, а на какой-нибудь другой улице города?

Несколько лет назад мне довелось жить с семьей в частном доме. В то время район, где располагался дом, еще не тревожили чиновники от архитектуры, и жилось нам хоть не со всеми удобствами, зато тихо и спокойно. Потом я получил квартиру в многоэтажном доме, но связей со своими бывшими соседями не порывал. И вот однажды в редакции

раздался телефонный звонок. Просила о помощи жена моего товарища Наталья Панова, жившая в добротном особняке по Офицерскому переулку. Была она напугана тем, что до нее дошли слухи, будто околоток, в который попадает и ее дом, будут на днях сносить. Когда я приехал, на усадьбе шли бурные дебаты — собрались ближайшие воинственно настроенные соседи и обсуждали план действий, как противостоять чиновному разгулу. Решили пойти по экстремальному пути: написать протестующие плакаты, забаррикадироваться и грудью пойти на тракторы, которые пришлют для сноса.

— Господи, — причитала моя знакомая. — Ну совсем, совсем нет никаких прав. Живу в собственном доме и не знаю, что ждет меня через два года. Снесут меня или дадут еще пожить. Я не знаю: сажать мне нынче огород или махнуть на все рукой. И как махнуть-то, если мне надо четырех кормить маленьких... Я не знаю, чинить мне забор или нет, красить ли фасад и наличники? Я не могу заявить о своем протесте. Меня не спрашивают — согласна ли я. Приходят и сносят. До моих нужд нет никому никакого дела. Вокруг меня создали какой-то ореол частника, которого надо стереть с земли, как кулака. А я такая же, как и все, советская гражданка, и я хочу жить так, как мне удобно, как мне по душе. Я не хочу, чтобы кто-то все решал и думал за меня. Ну у кого вытребовать мне законные человеческие права?

К счастью, слухи оказались ложными. В горисполкоме мне даже выдали бумажку, что в ближайшие два года в интересующем меня районе никакого сноса строений производиться не будет. Два года... И это все гарантии. А как жить дальше? Вот так до конца своих дней оставаться на положении временщиков, в ситуации, которую дурацкой назвать и то нельзя? На такие «сложные» вопросы информацию получить трудно.

«Идут годы, разрушаются дома. В доме 111 (по ул. Декабрьских Событий) в третьей квартире давно уже не живут, обвалилась крыша, пришлось людям бросать свое жилье и перебираться на частную квартиру. Мы чувствуем себя временщиками в своем собственном доме и не можем произвести даже ремонт. Неизвестно, что будет завтра, стоит ли отстраивать дома, когда никто не знает, сколько им еще придется простоять».

Эти строки из открытого письма двенадцати иркутян, которое было опубликовано молодежной газетой («Советская молодежь», 1989, 11 марта) и адресовалось председателю Иркутского горисполкома Ю. А. Шкуропату и главному архитектору города (теперь уже бывшему) В. Ф. Буху. Двадцать лет люди жили в неведении, что же им готовит день грядущий. Двадцать лет без прав, в слепой надежде на чью-то коллективно-административную милость.

Подобные примеры можно приводить бесконечно, но, мне думается, и этих вполне хватит, что-

бы понять, что здесь что-то не так, куда-то мы не туда гребем, хотя вроде бы все основные призывы верны. «Обеспечить, ввести, сдать...» Обеспечиваем, вводим, сдаем, а нехватка квартир все острей, и сейчас даже самые терпеливые и доверчивые с опаской и сомнением смотрят в год 2000-й, который по проектам должен стать судьбоносным в решении жилищной проблемы.

На остром жилищном кризисе сказались грубые издержки идеологического характера, когда единственно верным и правильным было признано направление на многоэтажную городскую застройку.

В былые годы под нее отводились обширные районы частного сектора, где преобладали крепкие и красивые дома. Подобный подход стал нормой, а норма, как мне представляется, выработала стереотипы мышления. Изжиты ли они сейчас? Я бы не спешил ответить на этот вопрос утвердительно. Вот мнение заместителя главного архитектора города А. Г. Смолькова.

«В городской черте в основном будет вестись высокоэтажная застройка. Строить низкоэтажные дома — это значит нерационально использовать городские земельные площади».

Не спешил бы я также тешить себя мыслью, что подобная позиция не имеет сторонников и мнение Смолькова — глас вопиющего в пустыне. На мой взгляд, представители этого направления занимают ключевые места в кабинетах административной власти, влияют на городскую застройку, на облик Иркутска.

В разговоре с одной административной дамой не совсем чтобы высокого общественного положения, как и не совсем чтобы низкого, но способной влиять на ход определенных событий, я высказывал мысль, что на обострении продовольственной проблемы в какой-то степени сказалось и увлечение многоэтажным строительством в городе, уничтожившее городское фермерство.

— В деревне, наверное, — поправила дама.

— Нет, я не оговорился, именно в городе.

— Что же, вы хотите сохранить все деревянные развалюхи и в центре города картошку разводить?

— Но почему, собственно, разговор сразу начинается с развалюх? Ведь их не так уж и много. А между тем в городских предместьях очень много доброго жилья, которое сносится по непонятным соображениям...

— Ах, перестаньте, — перебила дама, не скрывая своего раздражения. — Баламутите только воду, людей с толку сбиваете. Картошку и поросят пусть выращивают в деревне, а город должен быть многоэтажным, красивым...

Странное, однако, понятие о красоте. Я начал было доказывать, что подавляющее число жителей, в том числе и горожан, такой густонаселенной страны, как Япония, живет в коттеджах, что это удобно не только с хозяйственной точки зрения, но дает также возможность сохранить тради-

ционность в укладе, преемственность и т. д., на что дама в лучшем случае снисходительно пожимала плечами, в худшем — агрессивно сверкала глазами.

Самое неприятное было то, что дама была совершенно уверена в своей правоте, у нее даже в мыслях не укладывалось, что может существовать другая, не только ее — правда. И что правду эту нужно если не принимать, то хотя бы считаться с ней.

И еще. Моя собеседница, в отличие от меня, имела за своей спиной мощный аргумент — власть. Ведь ее посадили на это место — значит, ей доверяют, ее мнением дорожат и... никакого плюрализма.

Правильнее и справедливее всего, мне думается, было бы сопоставить две тенденции в развитии жилищного домостроительства — отечественную и мировую.

Недавно посетил Японию депутат Верховного Совета СССР Г. И. Фильшин. Вот что он рассказл:

«Япония, как известно, страна с крайне ограниченными земельными ресурсами. Перенаселенность страшная. Казалось бы, кому как не ей при строительстве жилья забираться все выше и выше. Конечно, высотные здания там есть. Но не это бросается в глаза. Мы были в провинции Сикава. Так вот, исключая город Канадзаву, где смешанное строительство, на всей территории провинции мы видели в основном одно-, двух- и трехэтажные коттеджи. Причем, участки вокруг них — ну трудно поверить — 10-15-20 квадратных метров! Но, несмотря на их малую величину, на них умудряются расти мандарины, яблони и другие цитрусовые и фруктовые деревья. Кроме того, это место, где отдыхает семья. Японцы ведь очень оригинальный народ, и на этом клочке земли они творят просто чудеса. Ставят, к примеру, где-нибудь в укромном месте усадьбы небольшой валун, а из-под него бежит маленький ручеек из водопроводного крана, и все это создает впечатление хоть и маленького, но естественного природного оазиса в городской черте».

Великий философ-просветитель Жан Жак Руссо, мечтая о светлом будущем, когда земля станет прекрасной цветущей планетой, для достижения этой цели видел один путь: «Каждый должен возделывать свой сад». Правда, его теория «естественного человека» подверглась уничижающей критике со стороны другого просветителя — Вольтера, углядевшего в этом возврат чуть ли не к первобытному состоянию общества. Если перенести это все на современный лексикон, то Руссо для своего времени и уж тем более сейчас был и остается ретроградом и консерватором.

Можно сделать такой вывод, что на данном этапе японцы консервативны, как, впрочем, и большинство стран Европы, которая сплошь традиционно малоэтажна. А уж об американцах и говорить нечего, потому что 80 процентов семей США проживают в особняках («Наш современник», 1989, № 8, с. 94). Конечно, все они могут и возделывают свой

сад, которого у жителя рядовой иркутской многоэтажки попросту нет.

«Самый большой и самый молодой город на Аляске — Анкоридж. Он мало похож на современные города «нижних», как здесь говорят, штатов — в двух шагах от главной шумной улицы здесь можно увидеть огороды... с картошкой. Анкоридж приземист, в нем нет ни одного небоскреба. Сказываются происхождение, местные условия — город находится в зоне землетрясений» («Советская молодежь», 1989, 16 апреля).

Иркутск, кстати, тоже временами потряхивает, но даже это не аргумент, чтобы утихомирить гнев административной дамы, когда ей напоминают про городские огороды с картошкой. Хотя, конечно же, дело тут не в одной только картошке, которая при желании вполне может выполнить и роль декоративного растения, как это было в свое время в Англии, откуда, как считают, и были завезены клубни в Россию. Просто американцы, как известно, очень практичный народ, и коли дело не сулит выгоды, то вряд ли будут с ним связываться. Значит, есть в малоэтажной застройке даже при ее, скажем так, относительной недешевизне свои резоны. И, кстати, тенденция на особняковое жилье в странах Запада все возрастает. И, мне думается, в немалой степени этому способствует тот самый руссоизм, который заложен в каждом человеке.

Но посмотрим, к чему же мы пришли после выхода печально известного постановления середины пятидесятых годов по борьбе с архитектурными излишествами. Теперь-то уж даже с самой низкой «кочки» зрения можно увидеть, для чего вышло это постановление — расчищалось место для массовой застройки городов унылыми и безликими многоэтажными коробками. Квартиры в таких домах до сих пор именуют «хрущевками», хотя следовало бы назвать их «корбюзьевками».

Под видом экономической целесообразности, прикрываясь благородным лозунгом — жилье любой ценой, — произошла своеобразная домостроительная монополизация, направленная на застройку городских кварталов обезличенными многоэтажками. Все остальное объявлялось «хламом», не представляющим никакой ценности и обреченным на погибель. Помните печально известный рассказ Василия Макаровича Шукшина «Мастер», где советский чиновник, покорный исполнитель, винтик административной системы, а в общем-то заслуживающий жалости, говорит про церковь: «Архитектор неизвестен. Как памятник архитектуры ценности не представляет, так как ничего нового для своего времени, каких-то неожиданных решений или поиска таковых автор здесь не высказал». Как будто жизнь наша только и состоит из поиска новизны во всем — от архитектуры до острых ощущений и удовольствий.

Н. В. Гоголь хотел, чтобы архитектура являлась, пусть «хоть в таком виде, в каком она была

отрывками среди наших городов при отжившем уже народе, чтобы при взгляде на нее осенила нас мысль о минувшей жизни и погрузила нас в его быт, в его привычки и степень понимания и вызвала бы у нас благодарность за его существование, бывшее ступенью нашего собственного возвышения». И для меня не важно — представляет ли художественную ценность тот или иной «памятник». Да его и памятником назвать будет неправильно. Это просто эпоха, дух, среда обитания людей былых времен.

К сожалению, специалистов-архитекторов, работающих и думающих в традиционной манере, не так уж много, а может быть, им просто не дают возможности высказаться. И тем приятней, когда счастливый случай сводит с такими людьми.

Валерий Трофимович Щербин, доцент кафедры истории архитектуры Иркутского политехнического института, знает город.

Его письменный стол буквально завален фотографиями по орнаменталистике деревянного зодчества Иркутска, а сам он скажет вам безошибочно, с какого дома тот или иной декор, по какой улице этот дом расположен и когда он построен.

Мне близки позиции В. Т. Щербина, его идеи по генеральной застройке Иркутска, и, наконец, мне импонирует его страстная натура патриота.

«Во все времена, — говорит Валерий Трофимович в беседе «Ступени собственного возвышения» («Сибирь», 1989, № 4), — выгоднее было строить именно хороший дом, пусть немного дороже, но зато максимально удобный для жизни людей. И нам не придется через двадцать или тридцать лет его ломать, как это уже сегодня в ряде мест происходит с панельными домами. Ведь если посчитать, то в конечном итоге для нас они оказались чуть ли не золотыми, а мы ими заполнили города. Но вновь слышим от руководителей строительства, что задача предоставить к 2000 году каждой семьей отдельную квартиру требует все более уменьшать стоимость квадратного метра жилой площади, все серии еще больше унифицировать, все больше экономить на отделке. Такая экономия обойдется в скором будущем слишком дорого всему обществу.

Какая польза от квадратных метров, если не формируется желанный для человека дом, полноценная среда для его жизни? Поставить задачу: дать каждой семье квартиру, и не уточнить, о какой квартире, о каком доме, о какой среде идет речь, не считаться с желаниями и потребностями людей — настоящих заказчиков, — оставлять строителям право решать, что и как строить, — значит, идти навстречу новым возникающим противоречиям. Сейчас же мы проектируем индивидуальное жилье, но в нем порой все выхолощено до такого уровня, что дом сам по себе «мертв», в него даже нашу типовую мебель не сразу занесешь и разместишь, не говоря уже о том, что люди, проживающие в нем, разобщены

и одиноки».

Разумная, казалось бы, мысль. Но вспомним и другую — «строить низкоэтажные дома — это значит нерационально использовать городские земельные площади». Это ведет якобы к тому, что в городе будет очень низкая плотность населения на квадратном метре земельной площади, а посему надо забираться вверх, вверх.

Есть на этот счет и другое мнение, о котором почему-то предпочитают не очень-то распространяться.

— Те же показатели плотности мы можем получить и при низкоэтажной застройке, — говорит Щербин. — Возведя одну или две девятиэтажки, мы уже не можем построить рядом другие здания, иначе пространство между ними будет напоминать колодец.

Но вряд ли взволнует такой исход дела ретивого чиновника. Упоминаемые колодцы уже давно появились в микрорайонах города. Вид, надо сказать, представляют они собой довольно унылый, да и согласитесь, какая может быть радость, если веки вечные в окно тебе будет смотреть не живой природный пейзаж, а однообразно-монотонные панели, порождающие такие же однообразные мысли?

Но вернемся к пресловутой плотности. Альтернативный взгляд специалиста на общепринятую городскую застройку мы имеем. А нелепо ли будет нам самим хоть и по-дилетантски, но пристально и сметливо приглядеться к этой самой плотности, и хоть на глазок прикинуть, сколько места занимает на земле-матушке стандартная российская семья из четырех человек. Калькулятора тут не потребуется, можно, как в старину, на пальцах.

Итак, загибаем три из них — такое количество земельных соток отведено под нашу квартиру и санитарную зону вокруг многоэтажки. Загибаем еще пять — это наш дачный участок. Еще одна сотка — гараж с подъездом, и ее один палец — общественное хранилище возле дома (все же на дачу не наездишься). Итого получается десять соток. Ого! Да это, братцы, немало, это очень даже прилично! Честно говоря, в городе у нас живет просто на редкость замечательный народ, потому, что запросы у него гораздо скромней. Он говорит: дайте мне всего шесть соток в городской черте из отпущенных десяти, и я построю двухквартирный коттедж, в котором будут жить две семьи — моя и моих престарелых родителей. Кроме всего, у меня на усадьбе будут баня, гараж, подвал емкостью в N-ное количество тонн, теплое подполье, теплица, а еще фруктовые деревья, ягодные кустарники, морковка, пресловутая картошка, и даже один раз в год я смогу вырастить для своей семьи крепенького кабанчика. Самое основное — земля будет у дела, а не превратится в бесплодный пустырь, каких полно вокруг многоэтажных домов. При всем при том, дом, который я возведу, простоит не двадцать-тридцать лет, а сто и более. И мне не надо будет рвать свои жилы и душу на части, как тому по-

стрелу, что везде поспел. Я постараюсь хоть со своего огородика есть экологически чистые овощи, как это делает рядовой американец из Анкориджа или японец из провинции Сикава. Почему им можно, а мне нет? Или слеплены они из другого теста? Работать я могу и хочу, возможности для этого есть, так за чем же дело встало?

Дом... Если заглянуть в этимологический словарь Фасмера, то вот несколько толкований приведенного выше слова: «дом, жилье», «строение», строительный лес», «почва», «место жительства», «поместье, имение», «выгон, пастбище, жилье», «владею, обитаю, пасу». И это не причуды разноязыкого населения нашей планеты, что в одном смысловом ряду стоят слова, не сходные по значению. Все они имеют между собой неразрывную связь и составляют лишь маленькую толику того, что включает в себя одно маленькое, привычное понятие, которое на большинстве славянских языков так и звучит — дом.

«Родной дом, — пишет Василий Белов, — а в доме очаг и красный угол были средоточием хозяйственной жизни, центром всего крестьянского мира. Этот мир в материально-нравственном смысле составлял последовательно расширяющиеся круги, которые замыкали в себе сперва избу, потом весь дом, потом усадьбу, поле, поскотину, наконец, гари и дальние лесные покосы, отстоявшие от деревни иногда верст на десять-пятнадцать».

Очень верная мысль. И все же, пока писал цитату, видел перед собой недвусмысленный, ухмыляющийся взгляд критика, мол, Белов пишет о деревне, а мы ведем разговор о городской застройке.

Но думается мне, что ухмылка эта и соответствует тому уровню нравственности, в котором пребывает сегодня наш грешный мир, объясняющий тяжелую болезнь общества универсальной формулировкой — «дефицитом человечности».

А вот И. И. Бехтольд, по-видимому, повел бы себя совсем по-другому. Вряд ли соотнесение идеи строительства дома с идеей сотворения мира вызвало бы у него легкомысленную усмешку. Пожалуй, он и сам привел бы немало интересных фактов из своего детства, вспомнил рассказы своих родителей о том, насколько серьезно, уважительно и суеверно-преданно относился человек к своему дому даже не в столь уж и отдаленные времена. И неважно, где он жил — в городе или в деревне. Ритуал закладки дома в городе, если верить источникам, мало чем отличался от деревенского. Да и мог ли он быть иным, если основные законы бытия были одинаковыми и тут и там. А скреплялись они православной религией, впитавшей в себя древние земледельческие культуры. Освящалось место постройки, отстроенный дом, приносилась ритуальная жертва и т. д. В Иркутске до сих пор в углах старых домов находят при сносе золотые монеты.

Традиции эти сильны были

еще в XIX веке, и убедиться в этом легко, стоит лишь открыть изданные уже в наше время (хоть и в урезанном виде) замечательные работы сказочника А. Н. Афанасьева и известного ходока земли русской публициста С. В. Максимова. Лишь «годы великого перелома» расшатали основательно российский домостроительный уклад, разорив общину и уничтожив цвет крестьянства и купечества как в деревне, так и в городе.

Так что многие из теперешних стариков были реальными свидетелями тех лет, захватили при жизни старые обычаи и традиции. Немало схожего о жизненном укладе россиянина в Сибири слышал я от матушки своей Анастасии Мартыновны.

Предки наши в давние-давние времена выработали глубоко почтительное отношение к своему жилищу.

«Об отцовском доме, — пишет Василий Белов, — сложено и до сих пор слагается неисчислимое множество стихов, песен, легенд. По своей значимости «родной дом» находился в ряду таких понятий, как смерть, жизнь, добро, зло, бог, совесть, родина, земля, мать, отец. Родимый дом для человека есть нечто определенное, конкретнообразное, как говорят ученые люди. Образ его не абстрактен, а всегда предметен, точен и... индивидуален даже для членов одной семьи, рожденных родной матерью и выросших под одной крышей».

Можно себе представить, какие семьи вырастали в домах, где царили законы христианской любви к ближнему, родителям, отечеству. Где был авторитет отца, умудренного жизнью и старавшегося передать свою мудрость потомкам. Где труд был в почете. Где жили традициями добра, памяти, уважения предков.

Именно в этом видится мне мощь государства Российского — в крепкой патриархальной семье. Страну, населенную такими семьями, нельзя было ни победить, ни сломить, какой бы ни была ее экономика. История знает немало тому примеров: Смутное время, война 1812 года и, наконец, Великая Отечественная.

Народ во все времена обладал своеобразным чутьем на правду, а правда та сермяжная закладывалась прежде всего в семье.

Российские семьи всегда были большими. Этому, во-первых, способствовали крепкие нравственные устои общества, а с другой стороны, малочисленная семья не смогла бы выполнить того колоссального объема работ, который требовался от нее, чтобы жить в достатке — кормиться, поиться, одеваться, учить детей. Я не склонен идеализировать не столь отдаленные времена, что жилось тогда безбедно, беспроблемно, беззаботно. Это тема другого разговора.

А сейчас мне хочется подвести вот к какой мысли: именно дом, в его изначальном понимании, способствовал становлению семейных отношений. Прежде всего, он воспитывал трудолюбивого человека и рачительного хозяина. Ежегодно в доме надо было по-

белить печь, покрасить потолок и стены, окна, фасад, каждодневно требовалось наколоть дров, натаскать воды, натереть хвощом или дресвой полы, промыть лавки, обтереть тряпицей иконы, застелить домоткаными половиками сундуки, скамейки, пол и т. д. И во все надо было вложить ласку, добросовестность, любовь, чтобы было все как у людей. За уход и заботу, конечно же, и дом платил тем же — стоял века, радовал глаз ухоженностью, хранил тепло очага, соединяя людей в крепкий родовой узел. И в такой спайке легче переносились непредвиденные напасти, веселее подвигалось дело, ценились доброта, мир и согласие.

И когда кроваво запели вихри нового времени, потребовалось разрушить этот могучий комплекс нравственных устоев. Теперь уже будет наивно полагать, что якобы все произошло само собой, без всякого вмешательства извне и что процесс ломки был вполне закономерным. Если согласиться с такой трактовкой, то мы станем похожи на самоубийц, совершенно сознательно лишающих себя защитных инстинктов и роющих себе могилу.

Убежден, делалось все сознательно и продуманно. Для достижения вожделенной цели были хороши любые средства. В их число вошло и уничтожение традиционного жилища как оплота российской семьи. Разумеется, с маху сломать всю Россию не хватило силенок, и вот нынче, кажется, мы становимся свидетелями предсмертной агонии жалких, чудом уцелевших остатков старинного российского зодчества.

Мне думается, что первым среди русских интеллигентов встревожился наступлением серийной архитектуры Николай Васильевич Гоголь. Он писал о своем времени: «Всем строениям городским стали давать совершенно плоскую, простую форму. Домы стали делать как можно более похожими один на другого; но они более были похожи на сараи или казармы, нежели на веселые жилища людей... Оттого новые города не имеют никакого вида; они так правильны, так гладки, так монотонны, что, прошедши одну улицу, уже чувствуешь скуку и отказываешься от желания заглянуть в другую. Это ряд стен, и ничего больше».

Позднее Андрей Белый назовет такую культуру штемпелеванной. Господи, нам бы теперь их заботы! Встревоженные проникновением во все сферы культуры обезличенных штампов, они, пожалуй, в то золотое время и представить себе не могли, до каких чудовищных масштабов разрастется этот процесс. Сколько он потребует невинных жертв, сколько горя и страданий принесет россиянам.

Что такое трех-, четырехэтажные домики Европы XIX столетия, так раздражавшие тонкий вкус Гоголя, по сравнению, например, с девятиэтажной застройкой Иркутска в районе улицы Маршала Конева, которую горожане метко прозвали «китайской стеной». Как здесь все выглядит угрюмо, громоздко, неуютно, мертво.

«Идеологом» многоэтажной типовой застройки, где все стандартно и подчинено одной лишь прагматической цели, считается «великий» архитектор Ле Корбюзье. Он говорил, что дом — это «машина для жилья» («Новый мир», 1989, № 7, с. 157).

Пожалуй, стоит в данных заметках привести некоторые высказывания «великого» из его книги (Ле Корбюзье. Архитектура XX века. М. 1970).

«Мы за новые пути в создании городов. Что же касается Парижа, Лондона, Берлина, Москвы или Рима, то эти столицы должны быть полностью преобразованы собственными средствами, каких бы усилий это ни стоило и сколь велики ни были бы связанные с этим разрушения. Единственный возможный проводник здесь, повторяю, — это геометрический дух».

«Сначала расчистка территории (т. е. снос.—**Г. Р.**). Необходимо уничтожить улицу-коридор... Но из улиц-коридоров образуются города-коридоры. Весь город превращается в коридор. Какое непристойное зрелище! Мы в состоянии уничтожить все коридоры... уничтожить дворы, окружить ряды домов свободным пространством».

Особенно наглядно эта мысль «великого» воплотилась в Иркутске в микрорайоне «Солнечный». Кто бывал там или живет, не мог не ощутить постоянно «гуляющих» по свободному пространству холодных сквозняков, которые по законам аэродинамики устремляются в широченную улицу-просеку, не защищенную ни домами, ни деревьями. А между тем, в центре города, где старая застройка и улицы не широки, даже в ветреную погоду спокойней и теплей.

И наконец «апофеоз» архитектурной мысли:

«Тяжелая индустрия должна наладить серийное производство элементов дома. Строить серийные дома, жить в серийных домах. Понимать смысл серийных домов».

При проектировании все должно быть подчинено голому рационализму: минимум квадратных метров для спанья, отправления естественных надобностей, столовая объявляется буржуазным пережитком, и вся семья собирается на разъединственной кухне, что мы сейчас и имеем в типовых пятиэтажках-хрущевках, в которых нормальному человеку даже помереть страшно, потому, что вынесут не вперед ногами, а бог знает как. За экономией места оставляю другие, не менее «оригинальные» высказывания «великого», скажу только, что то, что мы имеем в нашей сегодняшней действительности, — это плод космополитического конструктивизма типа «а ля корбюзье».

Наиболее легко было осуществить свой замысел в послереволюционной России, тем более что кое с кем, например, архитектором Москвы Гинзбургом, Ле Корбюзье вел даже личную переписку. Но в целом воплотить идеи «великого» помогла командно-административная система экономи-

ческой власти с ее принципами жесткого централизма. И вот уже своя метода у Гинзбурга: не делать никаких новых капиталовложений в существующую застройку, а «терпеливо лишь дожидаться естественного износа старых строений, после которого разрушение этих домов и кварталов будет безболезненным процессом дезинфикации Москвы» («Наш современник», 1989, № 9, с. 119). Как видим, не только Москвы, а всей России. Сколько же у нас жилья доведено до ужасного состояния! И по сей день мы расхлебываем эти идеи и планы «великих», и просвета не видно.

Однако же давайте последуем мудрому совету Ле Корбюзье и попробуем до конца постигнуть «смысл серийных домов», хотя в какой-то мере мы уже это сделали. Теперь посмотрим на проблему с медицинской точки зрения: как чувствует себя человек в серийном жилье примерно эдак на уровне шестого этажа? Как стучит его сердце, работают легкие, в норме ли у него вегетативная и прочая системы?

Вот уже четыре года я храню лекцию заведующего лабораторией биосферных исследований Института литосферы АН СССР Фаттея Яковлевича Шипунова, которую он прочитал еще в 1985 году в Москве. Факты, приведенные ученым, честно говоря, повергают в состояние легкого шока. Прежде всего, об этажности. Оказывается, чем выше от земли, тем больше возрастает градиент электрического поля земли и тем губительнее это сказывается на общем самочувствии человека. В лаборатории проводились различные исследования на животных, и вот к каким результатам пришли ученые: крысы, наиболее чувствительные к любым изменениям природных условий, не живут выше пятого этажа.

Теперь о строительном материале. Ныне серийное многоэтажное строительство ведется в основном из бетонных панелей. Что же это за материал, с точки зрения современной науки, и почему древние зодчие строили свое жилье только из дерева или кирпича? Кирпич — это обожженный строительный материал, окисленный на 100%. Дерево? Здесь, пожалуй, вообще нет никакого повода для каких-либо пояснений. Остается бетон. Что же это такое? На это, увы, лекция дает ответ очень даже неутешительный. Двести лет бетон будет «раскисляться» и поглощать из воздуха самое ценное для жизнедеятельности живой клетки — ионизированный кислород. Вот почему, если мы спим при закрытых форточках, да еще на шестом этаже при высоком градиенте электрического поля, к утру мы чувствуем себя не только не отдохнувшими, но нередко совершенно разбитыми... Но и это еще не все. На заводах и домостроительных комбинатах при изготовлении панелей происходит сепарация изотопа «Калий-40». Так что ежедневно, находясь в родных стенах и постигая корбюзианский смысл серийных домов, мы получаем «законную» дозу гамма-облучения. Ученые подсчитали, что если человек

безвыездно проживет в таких стенах 30 лет, то это будет для него смертельно.

И еще. Как известно, в панелях заложена металлическая арматура. А это не что иное, как клетка Фарадея, которая если не совсем прекращает, то резко снижает поступление естественных электрических и магнитных зарядов в наше жилье. Об этом, кстати, уже писала газета «Труд» в июне 1989 года. Правда, там затрагивался несколько иной аспект — рекламировались магнитные клипсы, которые якобы восполняют «всего лишь» 30-процентную нехватку этих самых зарядов. О том, чтобы пересмотреть домостроительную политику, газета не писала.

Интересна информация к размышлению и о пресловутой плотности, за которой так гонятся наши архитекторы. Если кур-несушек посадить по 15 штук на одном квадратном метре (клеточное многоярусное содержание), то больше года птица не проживет, сгинет. То же будет с коровой, если ей выделить для жизни только два квадратных метра в переполненном коровнике. «Век» животного сократится до трех лет.

Можно было бы поговорить, и о том, какую «услугу» оказывают городской санитарной среде плоские асфальтированные крыши, поглощающие активный ультрафиолет и тем самым способствующие распространению болезнетворных микробов. Или как влияет на световую поляризацию кольцевая структура застройки города. Но, кажется, и этого достаточно, чтобы задуматься, что не одни природные магнитные бури виноваты в нашем дурном самочувствии, на которые мы, по привычке, сваливаем свои недомогания. И не только перепады атмосферного давления заставляют нас глотать таблетки, приближая роковой день.

Вот интересный пример. Федор Иванович Шаляпин, приезжая на гастроли в тот или иной российский город, непременно просил развесить объявления примерно такого содержания: «Сниму квартиру с печным отоплением». А ларчик открывается просто: влажность воздуха в деревянном доме с печкой наиболее благоприятна для здоровья и голосовых связок. И Европе это не надо растолковывать. По данным «Советской России», 70—80 процентов жителей европейских стран «топят печи, камины и на судьбу не жалуются» («Советская Россия», 1989, 21 октября).

В «Сибири», № 4 за 1989 год, опубликована любопытная, на мой взгляд, статья Виктора Николаевича Тростникова «Время собирать камни». Я не буду ее пересказывать, а лишь процитирую небольшой отрывок, который имеет прямое отношение к теме нашего разговора.

«Находясь в Вашингтоне, я жил в хорошем районе Джорджтауне, сравнительно недалеко от Капитолия, где земля, конечно, очень дорогая, — пишет Тростников. — С балкона передо мной открывался совсем не городской пейзаж: большая поляна, овраг, за оврагом дикий лес. Когда я

удивился, что в таком месте до сих пор не освоена пустынная территория, мне показали маленький домик на краю поляны и сидящего на ступеньках старика. Он здесь родился, это его земля, и он решил не продавать ее пока жив. Можно представить, как зарятся на нее дельцы, которые могли бы построить здесь нечто такое, что давало бы им многомиллионные прибыли, но владелец не продает участка, и разговор на этом кончается... Личное имущество и частная инициатива охраняются тщательно разработанным законодательством, которое имеет ни в коей степени не формальный характер, а является строгим общественным императивом».

Публикация эта появилась в Иркутске после случая с И. И. Бехтольдом. Еще родственники покойного не выплакали своих слез, не смирились до конца с постигшим их горем.

Не знаю, прочли они названную статью или нет, но на меня она подействовала удручающе. Я не сторонник частной собственности, особенно когда дело касается земли. Но не понятно мне и другое: как можно ею владеть абстрактно. Ведь в нашем положении получается, что мы владеем тем, что нам не принадлежит.

И вот в таком «подвешенном» состоянии проживает сегодня в Иркутске более 20 тысяч семей — владельцев частных домов. А в целом по стране 150 миллионов («Советская Россия», 1989, 21 октября). Проживают на положении временщиков, затаенно ждущих надвигающихся перемен. Что же принесут они? Во всяком случае, пока запросы частника и государства не совпадали; первый был на положении умирающего, второе всеми силами помогало ему пребывать в этом качестве. Серийное домостроение давило силой монополиста. Слово «снос» до сих пор остается привычным и обыденным для иркутян. А ведь из тех 20 тысяч домов, по сведениям городского БТИ, две трети, т. е. подавляющее большинство, имеют износ от 30 до 60 процентов. По сложившимся оценочным нормам, это вполне добротное жилье и при соответствующем уходе простоит еще десятки и десятки лет. По простой логике надо просто взять и благоустроить его. Звоню в управление капитального строительства Иркутского горисполкома. Есть там такой интересный отдел сноса строений. Интересуюсь: есть ли какие-то конкретные планы по долговременному сохранению частного сектора с полным его благоустройством? Ответ сотрудника отдела Татьяны Афанасьевны Стрижак — отрицательный.

Мне могут возразить, что и у нас в городе начинают отряхиваться от косности, уже выделены участки под строительство 7,5 тысячи коттеджей в пределах городской черты. Это так. Однако видится мне и здесь известная доля странностей. Что же это у нас за логика получается: новые участки под частный сектор выделяем, а уже имеющиеся добротные дома, районы с традиционной застройкой сносим бульдозерами и на их место водворяем

безликие серийные коробки. Там, где можно обойтись вдесятеро меньшими затратами, мы не хотим этого делать, а сознательно идем по более дорогостоящему пути. Такой метод хозяйствования известный публицист Василий Селюнин назвал «самоедским».

К тому же то, что предлагают архитекторы, те самые типовые коттеджи, не каждому построить по карману, ведь их сметная стоимость доходит порой до 40 тысяч рублей. Ясно, что позволить себе такую роскошь могут только имущие слои населения. Да и много ли это — 7,5 тысячи? Оказывается, мало, попасть в список счастливчиков уже невозможно, запись прекращена. И это не случайно. Как бы ни навязывали специалисты-архитекторы свои устаревшие идеи, жизнь берет свое. Вариант а ля корбюзье — кухня 6 квадратных метров, потолки 2,5 — устраивает далеко не каждого. Надо полагать, что процесс этот не захлебнется в конструктивистском море технократизма. Тем более что хоть и с трудом, но разворачивает свою деятельность Всесоюзная акционерная кооперативно-государственная компания «Свой дом».

Однако и здесь заметно желание изначально все централизовать. Например, запись на строительство коттеджей велась в Иркутске только на предприятиях города, строить дома будут специализированные организации. Т. е. личная инициатива в этом случае не играет почти — кроме выбора проекта — никакой роли. А может, я хочу обойтись собственными силами? Вы дайте мне землю под усадьбу и проведите коммуникации. Но что же есть на самом деле? Один мой знакомый, живущий в частном доме, рассказал мне такой случай: тянули теплотрассу в один из новых микрорайонов города, и прошла она буквально в двух шагах от дома моего знакомого. Он говорит монтажникам: сделайте, мол, отводку от центральной трубы ко мне в дом, я вам заплачу. А ему в ответ: ты что, мол, парень, белены объелся? Ишь, чего захотел! Теплотрасса же государственная, а ты частник. И примеров таких можно приводить бесчисленное множество.

Вот и получается: частную инициативу подрубили мы под корень, и в государственном секторе дела складываются невесело. Увлекшись новым строительством, мы в последние двадцать—тридцать лет почти не обращали внимания на уже имеющийся жилой фонд, который давно нуждается в капитальном ремонте. Только в одном Иркутске до 2000 года необходимо отремонтировать шесть миллионов квадратных метров жилья — столько, сколько построить! Иначе программа «Жилье-2000» с «блеском» будет провалена. Но чтобы отремонтировать пресловутые «хрущевки-корбюзьевки», надо затратить на каждый квадратный метр жилого фонда 700—800 рублей! Да где же мы наберемся таких денег! Для сравнения: построить новый дом с той же площадью обойдется примерно в 2,5 раза дешевле, фонды же ремонт-

ным строительным организациям постоянно снижаются.

«Ежегодно количество жалоб на это (на нерасторопность ремонтников. — **Г. Р.**) возрастает на 12—15 процентов. Если так будет продолжаться дальше (снижаться фондирование и финансирование.—**Г. Р.**), то лет через пять—восемь потребуются героические усилия уже не в областном, а в государственном масштабе», — бьет законную тревогу начальник Иркутского производственного управления жилищного хозяйства П. Воронин («Советская Россия», 1989, 18 октября).

А очереди на получение жилья в Иркутске не уменьшаются. И что самое интересное, немалый процент в этих очередях занимают те же самые частники. А куда им деваться? И надо ли им куда-то деваться, если они, как и все остальные, «имеют право на улучшение своих жилищных условий»?

Если мы не повернемся лицом к частнику, то проблема, о которой говорил П. Воронин, усугубится до неразрешимой вообще. Мне думается, надо пересмотреть планы генеральной застройки города и внести необходимые коррективы, не только не ущемляющие права частника, но дающие ему полную свободу действий. Не надо связывать ему рук, и я убежден: через год—два произойдет настоящее чудо и мы не узнаем иных городских особняков, которые находятся сейчас в неприглядном виде. Надо дать возможность людям создавать на улицах города, в околотках жилищные кооперативы с обязательным их благоустройством. Не надо выделять только пустыри за чертой города под индивидуальную застройку, пусть ею станет, точнее, останется, исторически сложившаяся городская среда, требующая заслуженного внимания к себе и понимания ее проблем.

Пока работал над настоящими заметками, вышел проект основ законодательства о земле. Думается, прежде чем он станет законом, проект претерпит немало изменений и дополнений. Но как бы ни были сформулированы его основные статьи и разделы, конкретизировать их в любом случае будут местные Советы, привязывая к местным условиям. Что же касается Иркутска, то мне хотелось бы высказать ряд предложений по закреплению законодательных основ, касаемых исторически сложившейся малоэтажной застройки.

Думается, было бы целесообразным горисполкому совместно с городским отделом архитектуры провести социологический опрос и определить районы частного сектора, не подлежащие сносу вообще, и принять соответствующее решение по полному их благоустройству — прокладке всех коммуникаций и асфальтированию дорог на кооперативных началах по государственным расценкам. Через средства массовой информации конкретизировать сектора вплоть до названия улиц, где не будет производиться снос.

Чтобы создать своеобразный

дизайн среды, необходимо усилить районные отделы архитектуры (дифференцированно). Здесь хорошую службу могли бы оказать творческие силы молодых архитекторов, неравнодушных к облику Иркутска. Такое очень даже практиковалось в прошлых столетиях.

«Во второй половине XVIII— начале XIX в. были разработаны разнообразные архитектурные типы жилых домов, так называемые «образцовые проекты жилых домов», — читаем мы в книге «Этнография восточных славян». — Они различались по материалу (каменные, деревянные, смешанные), этажности (в один, два, три этажа), по внутренней планировке, по внешнему архитектурному облику... В некоторых городах над созданием проекта работали специально назначенные архитекторы и инженеры, часто проекты создавались для определенных конкретных городов, поэтому в отдельных городах прослеживается свой архитектурный стиль (особенно в ансамбле центра). Начатое в эти годы типовое строительство продолжалось и в последующие годы. Однако многие дома строились не по образцовым проектам, а в развитие древних традиций». (Этнография восточных славян. М. 1987, с. 253).

Чтобы процесс благоустройства частного сектора шел быстро и эффективно, необходимо, на мой взгляд, выделить нужные фонды и определить подрядчика по прокладке коммуникаций.

Не должны оставаться в стороне и землеустроители. Их задача состоит в том, чтобы, исходя из местных условий и возможностей, определить оптимальный размер усадьбы для исторически сложившейся застройки.

Необходимо расширить права частника, дом которого подлежит сносу, руководствуясь при этом конституционным принципом неприкосновенности жилища. Если владелец не дает согласия на снос, то каждый случай должен быть рассмотрен в местном Совете с участием государственного арбитража. Если и здесь не достигнуто согласие, вопрос должен выноситься на сессию депутатов местных Советов. В случае принятия решения не в пользу владельца усадьбы он вправе требовать предоставления ему равноценного жилья в любой другой части города, где существует индивидуальный сектор.

Крайне важно и другое: нужно разработать типовые обязанности для владельцев частных благоустроенных домов и строго, вплоть до привлечения к административной ответственности (штрафы), требовать их выполнения. А чтобы это правило выполнялось, необходимо повсеместно поощрять создание различных жилищных кооперативов. Такой опыт уже имеется в городах области, надо лишь его хорошенько изучить и внедрить, не откладывая дело в долгий ящик.

Геннадий Герасимович Русских родился в 1955 году в п. Кордон Тайшетского района Иркутской области. Закончил Иркутский государственный университет. Очерки публиковались в альманахе «Сибирь». Живет в Иркутске.



Владислав Пляскин

ШАТКИЕ МОСТКИ

Иду один, где шаткие мосты.
Свою судьбу не обойду я мимо.
Увяла нежность, как в мороз цветы.
И рядом нет ни друга, ни любимой...

Внизу река. Печаль моя — удав
Кольцо на горле стягивает туже.
Уйду в туман, волну не расплескав...
А верилось — я был кому-то нужен.

ВЛАСТЬ САТАНЫ

Наводит плут на ясный день туман,
Пошляк таланту связывает крылья.
«Второе счастье — наглость и обман»,—,
Так говорят от горького бессилья...

Власть сатаны: кто с ним, тому везет,
Кто против зла, тот знает цену горя...
От солнца прячется слепорожденный крот.
Рабы молчат, а правдолюбцы спорят.



Нина Сидорова

□ □ □

Подскажите, где та деревушка?
Только пни, запустенье кругом
Да крапивы веселой пирушка.
Там стоял новый рубленый дом.

И все та же гора за речушкой,
Только вот заросла до бровей
И былая тропинка-рябушка.
Под травой — следы мамы моей.

Разлетелись твои соколята,
Кто погиб на войне, кто в тюрьме.
Нет ни мужа, ни друга, ни брата.
Я одна, как щепа на волне.

□ □ □

Люблю я осени проказы,
Ее наряд.
Березы — солнечные вазы —
В лучах горят.

Лениво речка Заларинка
Волну плетет.

Вся в бликах, будто бы в кувшинках.
К себе зовет.

А сколько красок: горы, пади —
Такой покой!
Соломы серебристой клади.
То край родной.

Ах, осень, осень, спозаранку
Не уходи!
И жизни тонкую морзянку
Не оборви!

□ □ □

Заклинаю тебя Богом,
Неутешною тоской.
Этой рощице убогой
Подари земной покой.

Не вали деревья махом,
Лишь бы только повалить.
Не кичись своим размахом:
Все живое хочет жить.

□ □ □

А моя рука да с твоей рукой,
А моя беда да с твоей бедой.
А в твоей руке —
Блещет верный щит.
А в моей руке —
Слезы, боль обид.
Защити меня от самой себя,
Защити меня от молвы, огня,
От жестоких пут одиночества.

□ □ □

Такой дохнуло стариной
От этой церкви,
Полуразрушенной, больной,
На грани смерти.

Седая плесень по стенам,
Где были фрески —
То глаз прорежется, то шрам
В куске известки.

Благословляет всех рука
Сюда входящих.
А рядом всадник в облаках,
Копьем разящий.

О Русь — скорбящая жена
И троеручица Мария.
Ты столько бед перенесла...
Очнись, Россия!

□ □ □

Дорогой утренней,
Росой расцвеченной,
Я ухожу в тот край,
Такой доверчивый.

Такой доверчивый,
Такой приветливый
И с детских лет моих
Со мной повенчанный.

Гора высокая,
Леса могучие.
Там синеокая
Реки излучина.

А вдаль по берегу —
Жарков пожарище,
И светлой памяти
Моей пристанище.



Александр Никифоров

ДОМОРОЖДЕНИЕ

Топорища елозят в ладонях не плотницких рук.
Но хватает еще нас на творчество и на веселье.
Из сосновых свечей с другом рубим бревенчатый
сруб,
С каждым новым венцом приближая момент
новоселья.

Об решетку стропил ветру белому не раскачать.
Будем жить — не тужить, если только придется
нам это.
На прибрежных откосах лилово горит иван-чай.
И летит мимо нас не бродяжное первое лето.

Но легко на душе, так давно не работалось
всласть.
Перекур, и опять на конек по лесам
восхожденье.
Золотая щепа застилает осеннюю грязь.
И встает на юру долгожданное доморожденье.

□ □ □

Чуть рассвет — возьму ведро,
В рюкзак поношенный поставлю.
Ремень и ножик на бедро.
Дела домашние оставлю.

Там, где кончаются дома,
Нырну по просеке в распадок.
И, забредя в густой туман,
Присяду у груздевых грядок.

В тайге покой и тишина.
Пока еще светло и рано,
Спят голубые облака
Созревших ягод на полянах.

СОСЕДУ

О тебе мне немало сказано.
Пожил — понял: что грош им всем.
Тем, кто глух душой, что доказывать?
Может быть, оттого ты нем.

Но к тебе не прилипнут гадости
Потому, что живешь светло.
Деревеньки ограбленной староста.
Сколько бед сквозь тебя прошло.

Сколько жара в поленницы сложено.
Сколько силы твоей в полях.
Сколько сена тобою скошено —
Знает только твоя земля.

Я иду по деревне таежной.
Светят окна твои во мгле.
Ты прими от меня, если можно,
Орден Преданности Земле.

СТРАДА

С утра овдовела моя кровать —
Силу в поле несу.
И с хрустом падает наземь трава,
Росой омывая косу.
К полудню торопится, волею полн,
Ветер босой по стерне.
Простор зеленогривых волн
Кажется морем мне.
А я по нему до заката — вброд.
Вера не даст утонуть.
Русую бороду точит пот,
Мой окропляя путь.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Хлебнув голодных дён,
Бежал мужик из города,
Плуги пластали дерн.
Крапиву рвали бороны.

Поскольку нет давно
Ни чая и ни сахара,
Талоны на вино
Мужик предложит пахарю.

Но парень-сибиряк
Не принял предложения.
Знать, были у него
Свои соображения.

Сказал на берегу:
«Не важно, ниже, выше ли, —
Задором помогу.
Ты только, милый, выживи...»

Никифоров Александр Георгиевич родился в 1944 году в Красноярском крае. Образование средне-специальное, техник-механик.

Публиковался в газетах, журналах, автор книги стихов «Подснежные ягоды».

Проживает в деревне Козлово Качугского района Иркутской области. Арендатор.

Николай Гайдук

РУССКИЙ РАЗМАХ

Трудные, осенние улеглись дела.
Нивы обнаженные дремлют у села.

Холодком седеющим окна чуть прижгло,
но в застольной горнице молодо-тепло!

До краев наполнится, выпьется до дна.
Жизнь моя, сударыня, ты ли не красна?

Где ты, где ты, музыка? Разверни меха!
Зря ль на мне рубашица в червонных петухах?!

Запылала кровушка, волю позвала...
По полу, как по полю!.. как в колокола!

По доске, по краешку, краешку тоски —
тень мою да черную топчут каблуки!

Смехом или посвистом прозвенит душа!
От зубов как будто бы всполохи ножа!

А в глазах-то синие всполохи звезды!
Эх, до счастья русскому — что и до беды!

Пой же, забубенная, про мои дела,
как синица глупая море подожгла!

Все сгорело начисто!.. Слезы кулаком...
Двери настежь... пепельный вечер над виском...

Ветер, ветер кружится, рвет багряный лес...
В мутных лужах звездные лоскуты небес!

КРЕСТ

Славный пращур наш был широк в кости —
далеко свой крест мог нести, нести...
Терпелив он был, скуп на жалобы,
как бы жизнь порой не прижала бы.
А теперь не тот на Руси народ!
Не один уже под крестом сдает.
Вот и я готов укорить судьбу,
дескать, что за крест на моем горбу?
То ли всем такой, то ль по выбору?
То ли вы в полях, то ли вы в бору
заломили мне, подарили крест....
Ох, не взять тебя за один присест!
Ты из дерева, из железа ли?
Где рубили тебя да где резали?..
Навалился крест на мое плечо!
Горячо плечу!.. И в душе печет!
Нелегко с тобой на земле шагать,
да нельзя тебя никому отдать.
Исподлобья я огляжу окрест —
есть у каждого свой тяжелый крест.
И у всех трещит становой хребет!
Кого грусть берет, кого зло берет.
И горюет всяк, закусив губу:
ох, за что мне Бог эту дал судьбу?!
Ох, пойду сейчас до того куста —
да и сброшу груз своего креста!..
Не надейся, брат, на иной удел.
И господь терпел да и нам велел.
А кто сбросил груз своего креста —
там душа давно, как пустырь, пуста;
жить легко ему, сладко-весело,
да расплата петлю там подвесила...
Славный пращур наш был широк в кости,
шел без ропота да без робкости!
И смола слезой не текла с креста...
Нет, не верю я, будто Русь не та!
Нет, и нам наш груз не слабо нести —
если прямо так да по совести!

НЕ СЛУЧАЙНО

Не случайно это было:
ночь, сугробы, стук в окно.
Не от холода знобило,
когда ты меня вводила
в дом, где спали все давно.

Пол застелен был луною!
Я на цыпочках, на цы...
Но стреляли под ногою,
как речные льды весною,
половицы-стервецы!

Сердце грешное частило,
тишину сверлил сверчок.
«Я весь вечер печь топила», —
ты чуть слышно говорила.
И снимал я пиджачок...

За окном звезда слабела.
Заплывало льдом окно.
Но в печи еще гудело!
И железо розовело,
как разлитое вино!

ХРАНИ СВОЮ СВЕТЛУЮ ДУШУ

В глуши деревенских опушек
играет малец у реки...
Храни свою светлую душу,
надежду, мечту береги!

И мне это было когда-то
вполне по плечу, но потом —
нагрянула грустная дата
с холодным и резким дождем.

В полях, где зарница резвилась,
порезали спелую рожь.
Вот так и мечта колосилась —
и угодила под нож!

Багряная верба роняет
листы в неприютную ночь.
Вот так и душа облетает —
и с ветром уносится прочь!

И поздно пускаться вдогонку,
и вот потому у реки
шепчу я сегодня ребенку:
«Дружок, береги, береги!

Забыл я почти и нарушил
хорошие клятвы, а ты —
храни свою светлую душу,
надежды свои и мечты!..»

БАЙКАЛЬСКИЙ ЛЕД

Как будто струны кто-то рвет —
байкальский лед
звенит, зовет!
Восторг мне в душу льет и льет —
байкальский лед!.. байкальский лед!

С восторгом этим не знаком —
на километры блеск стекла!
Как будто по небу пешком
душа из тела в рай пошла!

И неотступно вслед за мной
сейчас не женщина идет.
Хранитель-ангел за спиной
от счастья плачет и поет!

И под ногами в глубине
не рыбьи спины и бока —
звезда веселая к звезде
спешит сквозь дым и облака!

...Сойдешь на берег.
А земля
прозрачной кажется насквозь!
Внутри — волнуясь и скуля —
вращается земная Ось!

УСТАЛЫЕ ГУСИ

«Над Россией усталые гуси летят!..» —
так поет мой отец и вздыхает.
Я в гостях у него, он как будто бы рад,
но с тревогою тайной встречает.

Он когда-то в степях этих весело жил,
он гонял поезда по России.
И, частенько гуляя, он матушку бил —
мы под дождь выбегали босые...

Выхожу я с отцом на сентябрьский двор,
в небе зябком усталые гуси
все летят и летят, все ведут разговор
поднебесные тихие гусли.

Я о прошлом ничем не напомню ему,
я стараюсь быть ласковым сыном.
Лишь усталые гуси, скрываясь во тьму, —
как рыдают они над Россией!..

Николай Викторович Гайдук родился на Алтае, детство прошло в селе Волчиха. Закончил медицинское училище и Алтайский государственный институт культуры. Член Союза писателей СССР, автор поэтической книги «Калинушка-калина», сборника рассказов и повестей «С любовью и нежностью» и романа-сказки «Волхитка» (Красноярск, 1986, 1988, и Москва, издательство «Молодая гвардия», 1990). В настоящее время живет в Москве.



Ким Балков

МИЛОСЕРДИЕ

(РОМАН ДАЕТСЯ В СОКРАЩЕНИИ)

1

«И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их; и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет сие начертание или имя зверя, или число имени его...»

Слова эти, трепетно живые, уже не уходили, и на душе сделалось пуще того смутно, так смутно, как еще не было даже в худшие минуты... Странно, что подумал так: худшие... А что же эти, недавние, истекшие, лучше?.. В том-то и дело, что нет, только хотел бы так считать, все еще надеясь, может, на чудо. Отчего бы пускай единожды не прийти и не сотвориться во имя Господне? Мысленно обратился к прожитым, малым по числу, годам и отчетливо увидел, что едва ли не во всякую пору жил надеждою, хотя отчаяние тоже не было чуждо. Случалось, завладевало им и впереди уже ничего не зрилось, тьма лезла в глаза, обступала со всех сторон, холодная, давящая, почти вселенская. Но даже и в эти отчаянные минуты срабатывало в душе, не ощутимое для него самого, и тьма мало-помалу отступала, и вот уж видел розовую траву-мураву при дороге, не побитую еще, не поломанную, и свет утренний, слабый покамест, стиснутый тьмою... Не знал про то, что срабатывало в душе, и думал, что это Господь охраняет от еще больших напастей. Но теперь засомневался, так ли?.. Время шло, а смута душевная все маяла. Спустя немного, заметил, что и лошадь под ним тоже забеспокоилась, словно бы приняла

часть его душевной смуты: запрядала ушами, начала косить в его сторону большим, лиловым, слезящимся глазом, точно бы умоляя... Увидел ее мольбу и подумал, что лошадь боится, как бы его душевная смута не перешла вся в ее тело и не раздавила, сказал, что этого не случится и она может не тревожиться: у каждого своя судьба...

Он ехал по городу, тихому, враз обезлюдевшему, и это было непривычно — смотреть на старый сибирский город, по которому словно бы прошел страшный мор и уж вроде бы никого не осталось. Никого... А ведь в последний приезд сюда он с трудом пробивался сквозь людские толпы и досадовал, встречая на пути многочисленные палатки, что зачастую стояли посреди проезжей части улиц. Тогда едва проехал к особняку адмирала на набережной Иртыша и велел доложить о себе. Рыжеусый бестия Киселев, бывший матрос, по слухам, в свое время спасший жизнь Верховному Правителю, а ныне начальник охраны ставки, на котором вызывающе дерзко сидела сербская военная форма, не спешил исполнить приказание. Генерал хотел рассердиться, но раздумал, не то чтобы сделалось безразлично, как раз этого не наблюдал за собою, был энергичен и расторопен в любую минуту, но, кажется, уже тогда в нем начинала копиться душевная смута, которая теперь стала огромною. Смотрел на бывшего матроса императорского флота угасше и холодно, не совершая и малой попытки поторопить, и это, очевидно, пуще всего подействовало на него. Матрос ушел, скоро вернулся и сказал, что Его Превосходительство ждут... Поморщился, за годы войны сначала с германцем, потом с большевиками отвык от высоких чиновных поименований. В армии, которой командовал и которая долгое время прозывалась народной, было принято другое обращение, пришедшее вместе с революцией.

Недолгое время ехал вдоль забора, сплошь заклеенного бумагой, тут были объявления о пропаже чистопородной охотничьей суки, вполне уживавшиеся с плакатами, кричащими о любви к Отечеству. Возле одного из плакатов остановил коня и стал медленно читать, все больше наполняясь досадой.

«Братья христиане! — читал он. — В этой войне встретились мир христианский и мир Лейбы Троцкого-Бронштейна. Настал час, когда мы должны спросить у себя, идем ли мы со Христом или противу него? Позорно христианину, осиянному силою Креста, бояться силы бесовской... Не сумев защитить Родины, защитим хотя семьи

свои... Будут немцы, китайцы, французы — России и русских не будет...»

«Черт те что!.. — сказал. — Как будто на стороне большевиков не русские люди, а всяческий сброд. Если бы было так, не они нынче стояли бы у стен сибирской столицы, мы у стен Москвы...» Он сказал и почувствовал, как смута, наполнявшая душу, словно бы сделалась живой, болезненно острой, вспомнил то недавнее время, когда к нему, молодому, всегда подтянутому и стройному, высокорослому полковнику с худым бледным лицом, на котором выразительно очерчены длинный тонкогубый рот и такой же длинный, с прямой спинкой нос, пришли представители комитета Всероссийского учредительного собрания и предложили встать во главе армии, которая имеет целью борьбу с большевиками, они говорили красно и убедительно, появилось ощущение, что за ними стоят не узкие партийные интересы, а большее. Может, люди, именующие себя социалистами-революционерами, а еще продолжателями дела одной из самых трагических партий России — народовольцев, и впрямь выражают не собственные эгоистические интересы, а интересы народные?..

Сказал:

— Я согласен. — Помедлив, добавил: — Согласен воевать на чьей угодно стороне, лишь бы это была война с большевиками.

Он сказал то, о чем думал: большевики представлялись силою противоестественною, едва ли не бесовскою, узурпировавшей власть, подмявшей под себя все живое в России. Не удивительно ли, что нынче на большевиков работал чуть ли не весь Генеральный штаб русской армии?! Обманутый ли, опутанный ли бог весть какими таинственными нитями, он словно бы пребывал в жутком оцепенении, не умея ничего понять из происходящего, не в состоянии увидеть пропасти, которая разверзлась перед всеми и к которой подталкивает чужая и холодная, власть предержавшая рука.

«Я согласен», — еще раз, но уже мысленно сказал он, когда остался один, а потом, не мешкая, собрался и уехал к армии. То, в сущности, недавнее время разительно отличалось от этого, придавившего душевной смутой, было наполнено надеждой и предчувствием удач. Впрочем, отчего же лишь предчувствием?.. Случались удачи, и немалые. Он с армией, которую в совершеннейшем согласии с его мыслями, очень скоро начали называть народной, стремительно, а тогда казалось, еще и победно, шел по

волжской земле, ненадолго задерживался в оскудевших деревнях, истово крестился, когда до слуха доносилась песнь церковных колоколов. Он задерживался в оскудевших деревнях, не обходил и большие города. Его стали называть героем волжских походов. Слышал об этом и мысленно улыбался, был доволен, но не так, чтоб забыть о своем предназначении, в которое начинал верить.

В армии были блестящие офицерские полки, где, снисходительно относясь к смерти, а порой и презирая ее, но, может, не ее, а себя в развороченной войною жизни, зачастую без единого выстрела, подняв наперевес штыки, ходили в атаки и побежали. Но в армии были еще и дивизии, сформированные из рабочих Ижевских и Воткинских заводов, это вселяло в него как в командующего уверенность. Она шла от убеждения, что с ним не одна часть общества, пускай и понятная и близкая сердцу, а и другие его слои. К примеру, рабочие... Рабочие полки уступали офицерским частям разве что в воинской умелости, а уж в мужестве и отваге — ни в коем случае. Они ходили в атаки, развернув Красное Знамя. И это не смущало. Значит, с Красным Знаменем сподручнее воевать, значит, в нем видится им такое, о чем он не знает и про что даже не догадывается. Но и ладно! Он всего лишь армейский офицер, прошедший суровую школу мировой войны, и не ему судить что надо людям, чего нет... Он видит свое предназначение в уничтожении воинской силы большевиков, а дальше пускай все случится так, как бог скажет...

Он подъехал к особняку Верховного и удивился: во всем городе тихо и безлюдно, а во дворе особняка суетились люди, спорили... Он слез с лошади, помедлил, дожидаясь, когда подбежит адъютант адмирала, полнолицый полковник с темными обвислыми щеками.

— Его Превосходительство ждет вас, — сказал полковник ласковым голосом и отступил в сторону.

Адмирал был в кабинете и, уперев в подбородок руки, смотрел невидящим взглядом и нескоро еще сказал:

— А, это вы, генерал?..

Потом поднялся из-за стола, худощавый, в светлом военном френче, волосы на голове аккуратно, на английский манер, пробором, расчесаны, глаза смотрели устало и, как показалось, холодно. Впрочем, мог и ошибаться, уж не в первый раз встречается с правителем, а все не поймет, и даже того не поймет, в каком Верховный нынче состоянии: сердит ли, доволен ли происходящим?.. Адми-

рал умел скрывать чувства, умел делать то, что не по силам генералу и что ловко использовалось недругами, которых у него предостаточно, особенно в штабе Верховного. Они, кажется, порой намеренно вызывали его на откровенность, а потом шептались, называя самонадеянным глупцом, мальчишкою... солдафоном, кому место не в армии, а в сумасшедшем доме. Они, скорее, и правителю доносили об этом, отчего отношения с адмиралом были у него не то чтоб натянутыми, а и теплыми, товарищескими тоже не назовешь. И теперь, когда Верховный поднялся из-за стола и пошел навстречу, генерал слегка растерялся, но взял себя в руки, подумал, что лишь обстоятельства чрезвычайные заставили правителя изменить привычной сдержанности. Впрочем, всегда ли она была принадлежностью характера Александра Васильевича Колчака?.. От полковника Перхурова, ведавшего снабжением армии, слышал, что с адмиралом случаются припадки ярости, и тогда штабные боятся предстать пред его очи... К примеру, в тот раз, когда Перхуров сказал правителю, что не уедет из Омска, пока не получит, на складах надобное, а если не получит, пойдет в кабинет начальника штаба и там застрелится, тот сухо спросил:

— Отчего так?..

— Ваше Превосходительство! — воскликнул Перхуров. — Да знаете ли вы, что происходит на фронте? Солдаты разуты, голодны... Обмундирование изношено. Патронов нет, их берем у большевиков. Медикаментов тоже нет. Жалованье вот уже который месяц не платят. И я удивляюсь, отчего войска еще держатся... отчего не побегут?..

Верховный удивился, услышав, сказал:

— А мне докладывали, что фронт ни в чем не нуждается.

— Да нет же, нет!..

Адмирал смутился, побледнел, острый птичий нос словно бы стал еще острее, глаза загорелись, растопляя то тусклое и холодное, что таилось в них.

— Меня все обманывают, — слабым, словно бы задыхающимся голосом сказал адмирал. — Я уж не могу никому верить. — Он вдруг взял со стола папку и бросил на пол и, кажется, совершенно забыл о Перхурове, забегал по кабинету и нескоро пришел в себя и устыдился своей горячности.

— Может, на складах ничего нет, оттого и не дают надобное? — спросил.

— Склады переполнены, Ваше Превосходительство! — сказал Перхуров, смутясь, однако ж не желая показать смущения. — Третьеводни был на складах и удивлен: там все есть, а войска разуты и раздеты...

— Вот как, полковник? Вот как?..

Это, последнее, окончательно выбило Верховного из колеи, горячность, которая так смутила Перхурова, кажется, расстроила и самого адмирала и тем не менее очень скоро обратилась в совершенно непредвиденное полковником, в ярость, что не знает границ и одинаково страшна, будь проявлена мужиком ли, человеком ли интеллигентным.

— Начальника снабжения ко мне!.. — кричал адмирал. — Начальника!.. Я расстреляю его!.. Вот этой вот рукою!.. Что же вы стоите, полковник?!

Перхуров, не помня себя, выбежал из кабинета и сейчас же уехал из города. Он сказал обо всем генералу, и тот не сразу поверил, а потом был даже доволен.

— Что ж, теперь, во всяком случае, армия получит необходимое...

Но генерал ошибался. Ни в тот день, ни через неделю в снабжении действующей армии не случилось перемены.

Верховный подошел к генералу, слегка дотронулся до его плеча чуть дрогнувшей рукою и, отведя глаза и побледнев, спросил:

— Так что же, мы не удержим город?..

Генерал не ответил, неожиданно вспомнил слова из обращения адмирала, когда 18 ноября 1918 года Совет Министров добровольно ли, по принуждению ли передал ему власть:

«Приняв крест этой власти в исключительно трудных условиях гражданской войны и полного расстройства государственной жизни, объявляю:

Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главною своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать себе образ правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру.

Призываю вас, граждане, к единению в борьбе с большевизмом, к труду и жертвам».

Он помнил обращение едва ли не наизусть, и не потому, что было близко по изначальной своей сути, как раз наоборот, потому, что никак не умел уловить этой сути, все ускользала, ускользала... Неясно, чего же добивался адмирал? Коль скоро не желал идти ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности, значит, видел третий путь?.. Но вот это и вызывало сомнение, в современных условиях, когда население России распалось на отдельные партии, группы, группки, едва ли можно что-то сделать, не сообразуясь со сложившимися обстоятельствами.

Не было ясности в обращении, не было ясности и во всем, что предпринималось адмиралом и его окружением, которое состояло бог знает из каких людей, однако ж не из тех, кто пользовался бы уважением в войсках. Все эти неведомо откуда взявшиеся генералы Ивановы-Риновы, Гришины-Алмазовы, Лебедевы хорошо гляделись в приемной адмирала посреди мягких кресел и низких бархатных пуфов, но совершенно терялись, когда волею случая оказывались в передовых частях сражающейся армии. Там они утрачивали лоск и вышколенность и едва дожидались минуты, когда представлялась возможность уехать. Тем не менее они имели на адмирала большое влияние, и он, случалось, поступал не согласно своему мнению, а мнению окружающих, и это было губительно не только для армий, но и для самого Верховного. Они нашептывали адмиралу, что народная армия, созданная Самарским правительством социалистов-революционеров, есть не что иное, как сборище левых, и на нее нельзя опереться, больше того, всячески надо опасаться, в противном случае может произойти непоправимое. Пуще всего их смущало, что рабочие дивизии воюют под Красным Знаменем, это, говорили они, никуда не годится, являя собою пример дурной и заразительный, но, может, и хуже, не пример, а вызов обществу.

Генерал понимал, что так и было, люди, хорошо знавшие его, не раз предупреждали, чтоб не верил штабным предписаниям, многие из которых имели откровенную цель — погубить народную армию. А он и не верил, чаще поступая не согласно предписаниям, а согласно сложившейся обстановке. Но он понимал и другое, что долго так продолжаться не может, сила не на его стороне. И поэтому ничего не предпринял, когда в один из приездов на фронт адмирал привез Георгиевское Знамя и подарил рабочим частям, сказав, что это Знамя больше соответству-

ет целям, которые ставит перед собой белое движение, а потом долго говорил о жертвенности во имя свободы. Он говорил вяло и заученно, и в частях скучали, но адмирал словно бы не замечал, было такое чувство, что слова, произносимые им, и то, что нынче происходит в душе у него, — не имеют между собой общего, есть отдельно существующее друг от друга, хотя это, конечно же, не так, и генерал знал, что не так. Просто Верховный не умел выразить того, что на сердце, но чаще и не стремился, полагая, что люди и без того поймут и сделают, как он скажет... Наверное, не будь этого упорства, кое-что могло бы сложиться иначе. Впрочем, теперь он сомневается, случилось бы по-другому, нет ли?.. И так ли уж многое решает личность, которая стоит во главе движения? В частности, белого движения?.. Скорее, не так многое. Белое движение нашло свою идею в жертвенности во имя свободы, но свободы абстрактной, не опирающейся ни на что реальное, а значит, с самого начала бывшей обреченною на погибель. Странно, чувствовал ли он это раньше?.. Пожалуй, чувствовал, но находил в себе силы подавить смущение и меньше думать о том, к чему, в конце концов, приведет борьба. И это для него, 27-летнего генерала, в сущности, было не так уж и трудно. Он искал удовлетворение в самой борьбе, в осознании того, что в борьбе не последний...

— Так что же, генерал, мы не удержим город?.. — снова спросил адмирал, но значительно спокойнее, чем прежде. — Это конец, как я понимаю?

Правитель помедлил, стал говорить, что одни, в частности генерал Сахаров, предлагают организовать оборону в районе Новониколаевска с тем, чтобы потом перейти в контрнаступление, ударив в стык большевистских дивизий, а другие, в частности генерал Диттерихс, и вовсе за то, чтобы распустить воинские части и начать партизанскую войну.

— Но мне все не по душе... — сказал адмирал.

— Мне тоже, Ваше Превосходительство, — с легкой досадой произнес генерал.

— Что же вы предлагаете?

— Отступать... Это единственное, что остается.

— Ну что ж, пусть будет так, — устало и безразлично сказал адмирал. — Я иду с вами...

Не прошло и десяти минут, как они вышли из особняка на Набережной, там еще находился толстощекий, с желтыми кривыми зубами ротмистр с охраною, адмирал

велел ему ничего не оставлять после себя, все сжечь, словно бы уверовав, что уже не вернется. Такая уверенность неприятна генералу, хотя и разделял недобрые мысли Верховного, однако ж полагал, что человеку, стоящему во главе движения, не к лицу опускать руки даже в самых критических ситуациях. В противном случае все, что еще не развалено, окончательно развалится, а что еще не упущено, будет упущено и уж никто и ничто не сможет помешать этому. Хотел бы предупредить адмирала, чтоб не опускал руки, но удержало, скорее, то, что, в сущности, плохо знал Верховного и мог лишь догадываться, как примутся его слова. А еще и то, что адмирал теперь сух и сдержан и в тускло поблескивающих из-под темных бровей глазах таилось совершенно обратное тому, что предполагал увидеть, удивительное безразличие ко всему, словно бы происходящее уже не касается адмирала и существует по другую от него сторону, сам же он нынче по эту, более благоприятную для него сторону. Тут не думается и не мечтается, зато тихо и спокойно, и дай-то бог, чтобы так было всегда!..

Генерал вздохнул, осознал себя одиноким перед надвигающейся катастрофой. Это чувство сшевельнуло с места душевную смуту и разлило вокруг и, если раньше ощущалась только в себе, теперь чудилась везде: и в провалах окон вдоль узкой и темной улицы, и на дрожащих и слабых ветках тополей, по-осеннему голых и скучных, и даже в том, как неуклюже и косолапо правитель сидел на лошади. Генерал вспомнил слова, приписываемые военному атташе Франции, а может, еще кому-то, попробуй-ка разберись нынче, и обращенные к Верховному:

— Господин адмирал, уметь управлять кораблем не значит уметь управлять Россией...

Не странно ли, белое движение никогда не имело сильного вождя. А ведь за белым движением стояло прошлое, история, которую не поломаешь вместе с общественными институтами и которая одна есть свидетельница и заступница перед злом. Да, так казалось, на самом же деле все случилось иначе и не один из тех, к кому судьба была благосклонна и кто мог бы стать вождем, не сумел сделаться им. Это же произошло и с адмиралом, хотя на него, как ни на кого другого, возлагались надежды. Люди с уважением относились к нему, как к выдающемуся мореплавателю, много сил отдавшему изучению морского пути из Тихого океана в Северный Ледовитый, как к весьма демократичному командующему Черноморским

флотом, по слухам, благосклонно принявшему февральскую революцию и полагавшему, что, наконец-то, власть в государстве перешла к честным людям, в которых нуждается исстрадавшаяся Россия и без кого невозможно успешное окончание мировой войны.

Генерал ехал чуть сзади Верховного, а подле них кружились, горяча лошадей и красуясь, верхоконные из адмиральского конвоя, сплошь в сербской, яркой, петушиной форме. Они вызывали у генерала раздражение нарочитой, искусственной лихостью, за которою угадывалась определенная, ничем не прикрытая мысль: «А мы что?.. Нынче мы здесь, охраняем правителя, а завтра можем очутиться в другом месте, при другом человеке, но нам и там будет не худо, мы такие и есть, везде надобны со своей лихостью и нежеланием думать...» Среди русских сербов генерал не сразу разглядел начальника конвоя. Да, это был тот самый матрос Киселев, кого за буйство и своеволие звали «воеводой», боялись и ненавидели... Честно говоря, генерал думал, что Верховный отказался от его услуг после всего, что узнал про «воеводу», и то, что было не так, покоробило, но не больше. Это даже самому показалось странным, однако не дал труда разобраться в своем душевном состоянии. Намеренно отстранился от того, что видел, и снова начал думать о судьбе Верховного, к которому, несмотря ни на что, испытывал искреннюю симпатию и жалел, что не мог быть полезен ему. Догадывался, что тот по нелепой (какой же еще?) случайности очутился не на своем месте. Да, он жалел правителя, но в его жалости было меньше всего сочувствия к человеку, кто, генерал был убежден, больше других повинен в том, что им грозит нынче катастрофа, от которой едва ли оправятся. Было другое, может, обычное человеческое участие: вот, дескать, адмирал очутился не на своем месте, и не потому, что стремился к этому, так сложились обстоятельства, и нельзя было отказаться от предложения встать во главе белого движения... И он сделал это, думая, что все само собой образуется. Не однажды слушал, что единственно, чего не хватает белому движению, — авторитетного честного человека, известного не только в России, кто сделался бы знаменем. А именно таким человеком адмирал считал себя и, кажется, не из одного самолюбия. Но он ошибался, что все образуется, как раз этого и не могло произойти по той причине, что никакая, даже самая выдающаяся личность не могла быть знаменем, если не связана множеством уз с людьми, иду-

щими за нею. Кажется, адмирал не понимал этого, как мало что понимал в происходящем. С самого начала, выступив с манифестом, поставил себя над белым движением, на удивление неоднородным, когда каждый прапорщик уверен, что только ему под силу быть военным вождем, от воли которого зависит судьба России, а недоучившийся шпак метит в пророки. Одни считали адмирала чересчур демократичным, другие, напротив, едва ли не приверженцем монархических устоев, но те и другие одинаково видели его неспособность предпринять энергичное, решительное. Тем не менее и те, и другие хотели бы перетянуть правителя на свою сторону, упрямо идя к своей цели, ни с чем не считаясь и ничем не брезгуя. Именно этим можно объяснить события, происшедшие после 22 декабря 1919 года. Тогда большевистски настроенные солдаты предприняли попытку освободить из тюрьмы политических заключенных. А уже на следующий день был развязан белый террор. Казаки ворвались в тюрьму и перебили тех, кто там еще находился, включая социалистов-революционеров, верных свергнутой директории, и уголовников, всех, кто не пожелал уйти прошлой ночью. Заодно расстреляли и солдат, охранявших тюрьму. А потом казаки вышли на улицы города и ловили заподозренных и свозили на берег Иртыша. Их жертвой оказался член бывшего правительства. Моисеенко. Его долго пытали, стремясь узнать, где спрятана партийная касса социалистов-революционеров. В тот день погибло 1500 человек.

Адмирал услышал об этом через неделю и был подавлен, кричал:

— Оставьте меня в покое!..

Но он так и не понял: для чего оказалась предпринята эта, на крови и муках людских, акция?.. Зато генерал, когда услышал о том, что произошло в Омске, сразу же догадался, что акция есть попытка «повязать» адмирала в духе восточной традиции кровью убиенных.

Генерал ехал чуть сзади Верховного, и постепенно жалость, которую испытывал к нему, начала сменяться раздражением, и, когда были на высоком, в черных, слегка припорошенных первым, мягким, белым снегом, изгибах, спадающих к реке, берегу Иртыша, он сказал:

— Вот здесь, Ваше Превосходительство, расстреляли тех, кто не захотел или не сумел спрятаться после той злополучной ночи.

Он сказал и сейчас же почувствовал, как Верховный насторожился. Когда же поднял голову и увидел прави-

теля, сделалось больно и неуютно, не нашел ничего другого, как дать шпоры коню и ускакать прочь...

2

Город был пуст. Во всяком случае, так показалось капитану Терновому, когда он очутился в его черте просто так, без всякой надобности, потянуло поглядеть на тот милый особнячок в центре города, где провел незабываемые минуты. Особнячок принадлежал генералу, кажется, Твердохлебскому, а точнее, его супруге Софье Никаноровне, про которую говорили, что она есть среднее между госпожой де Сталь и Сонькой Золотая Ручка, в свое время столь популярной в России лихими налетами ее молодцов на банки и на квартиры зажиточных граждан, что даже господин Куприн был бы не прочь познакомиться с нею и по возможности рассказать про нее в книгах. Но Терновому наплевать на то, что говорили о Софье Никаноровне. Много ль нынче к кутерьме-то, в заварухе-то не потерявших себя женщин? Все переплелись так, что черт ногу сломит. Ах, увидеть бы еще раз Софью Никаноровну! Что за женщина! Дивная, с ласкою в глазах — узришь ее издали; приняла куда с добром: и чайком попотчевала, и любовью не обделила... Да, да, и любовью.... Оказался тогда в городе с полковником Махиным. Генерал попросил: не оставляй одного, вдруг в немилость попал к высоко нынче сидящим людям, как бы чего не случилось... У них суд короток.

И впрямь, короток. На вокзале оттерли Тернового от полковника молодцы в цивильном, а по всему, и по повадкам, офицеры. С тех пор полковник как в воду канул. Уж много времени спустя узнал, что увезли несчастного на русско-японскую границу, там и пристрелили... Не простили, что был близок с социалистами-революционерами, выступал против Верховного. Перенервничал тогда, бродил по городу ошалевший, искал полковника, любил его, как, впрочем, и все офицеры в народной армии. Но разве найдешь?.. Тогда-то и очутился у особнячка, глядь, вроде бы те ж молодцы трутся у низкого, из белой, тщательно обструганной доски заборчика, шепчутся... Недолго стоял, выхватил пистолет...

— Руки!..

Был в ярости, ему ничего не стоило перестрелять всех,

и они, кажется, поняли это, лица побелели, как заборчик, возле которого стояли.

Подбежал к ним и стал спрашивать, куда дели полковника? Но те молчали. Он выстрелил, и не в них, а чуть в сторону, и тогда один сказал в смятении:

— Господа офицеры, да что же такое?..

Он понял, что не ошибся, это были офицеры, офицеры контрразведки, которых так не любили в армии и боялись. Терновой не являлся исключением из общего ряда, рука слегка дрогнула, впрочем, ярость все ж не покинула, в худшем случае, перестреляет всех и уйдет... Так решил про себя. И тут на крыльце появилась женщина в ослепительно белом одеянии. Была она так хороша, что Терновой зажмурился, подумал: «Уж не наваждение ли?..» Мелькнувшая мысль не была случайной: только что видел белый заборчик, за которым в легком вечернем сумраке угадывался белый особнячок, а вот теперь еще и женщина в белом... Открыл глаза и заметил, что она идет навстречу, и опустил пистолет. Молодцы приободрились и снова зашептались, но он уже не смотрел на них и не слушал, во все глаза глядел на женщину, которая приближалась...

Она подошла, спросила:

— Что же вы... затеяли стрельбу? А ведь особняк адмирала отсюда в трехстах саженях, вдруг там услышат, и у вас будут неприятности.

Растерялся. Странно, что растерялся. Не принадлежал к людям, которых можно смутить женской красотой (нагляделся!), но тут произошло удивительное, непохожее на него. Смутился и не знал, что отвечать. Она взяла его за руку и, повторяя одно и то же: «Пойдемте... пойдемте... пойдемте...», — провела сначала в переднюю, потом в гостиную, потом еще куда-то, где было сумрачно и уютно и пьяняще пахло сладкими духами. Он мало что соображал, по крайней мере, впоследствии казалось, что мало что соображал, находясь во власти женщины, которая была тем сильнее, чем больше хотел бы ей подчиняться. А именно такое желание все росло и росло. И, если вначале еще спрашивал про людей, что повстречались возле особняка, и говорил о полковнике Махине, которого должен был сопровождать по городу и потерял, и за это не простят в армии, но, если даже и не скажут, каждый волен думать, что и капитан Терновой повинен в разыгравшейся трагедии, то спустя немного и думать забыл про это и, все больше подчиняясь своему желанию, а еще желанию жен-

щины, неожиданно заимевшей над ним власть, очутился в совершенно ином мире. Этот мир нельзя назвать реальным, как нельзя сказать, с ним ли происходит чудное, с другим ли? И станет очень обидно, если с другим...

— Ах, ты не думай... не думай... не думай... Ни о людях, что встретились возле особняка. Ни о чем-то еще... Все к черту! К черту! Есть только я... И ты иди ко мне, иди... Ну, чего же ты?.. Ах, ты мой сладенький!..

Кто же так говорил, зачем?.. Силился понять в себе, даже и в эти сумасшедшие минуты остававшееся неизменным, твердое и упрямое, что вначале сдерживало, а потом оказалось смято, раздавлено другими чувствами. Но понять не умел, как не умел и предпринять ничего, кроме того, что она повелела.

Была ночь, удивительная, сладкая, одна из тех, что выпадают раз в жизни. Во всяком случае, Терновой не испытывал подобного, и это поколебало убеждение, что через все прошел и нынче все неинтересно и скучно и он ничего не ждет от жизни.

Утром она разбудила и сказала, нависнув над ним, большая, теплая и все еще желанная:

— А тебе пора, миленький, пора... Скоро приедет муж, обещался быть нынче, увидит тебя, и тогда сделается скандал...

Помедлила, усмехнулась. Усмешка была не радостная. Терновой заметил, что не радостная, хотел бы спросить, что происходит с нею? Но она, словно бы догадавшись про его мысли, поспешно сказала:

— Ах, ничего особенного... Ничего!

Терновому стало тревожно. Тревога не исчезла и тогда, когда покинул особнячок, а через день оказался в армии и командующий спрашивал, куда подевался полковник Махин?.. Он отвечал и, кажется, не совсем толково, генерал был недоволен, а уж потом недовольство увиделось капитану в лицах других людей, даже тех, вроде поручика Милютина, кто уже давно, едва ли не со времен Самарского учредительного собрания, ему близок. С этого дня тревога неизменно следовала за ним, то отдаляясь, то делаясь ближе, в зависимости от обстоятельств, которые, впрочем, через месяц-другой начали складываться так, что уже не отыскивалось места ничему, кроме тревоги. И это принималось людьми без удивления, все тогда пребывали в беспокойстве за свою ли судьбу, за судьбу ли общего дела. И никто не знал, что тревога Тернового другого свойства. Он и прежде не хотел бы думать ни о

чем, полагая, что от его раздумий мало что зависит, в конце концов, все сложится к удовольствию той или другой противоборствующей стороны, а нынче в особенности... Его тревога происходила от того, что Софья Никаноровна ничего не сказала, когда в следующий раз встретятся, не сказала, нужна ли ей встреча? А вот ему нужна... И это было удивительно, он не хотел бы ни от кого зависеть, до сих пор жил в уверенности, что ни от кого не зависит, полагаясь на себя. А теперь жаждал зависимости и мучался оттого, что жаждал...

Терновой подошел к особнячку, дернул за шнурок, но звонка не последовало, понял, что никого из хозяев нету, как, впрочем, нету и прислуги, которую ожидал увидеть и расспросить, куда подевалась хозяйка? И, если уехала, с кем, когда?.. Подождал, а потом пошел со двора, вдруг подумал, что похож на мальчишку, ищет вчерашний день и по причине невозможности отыскать изводит себя тревогой и что не надо бы делать так, а жить согласно правилам, которым уже давно следует и которые ни разу не подводили.

— Я так и буду делать, — сказал. — Все остальное к черту!..

Он сказал и вроде бы смирился и уже старался не думать о Софье Никаноровне, а она меньше всего заслуживала, чтоб думать о ней, пользовалась недоброй славой. С самого начала Терновой знал это, однако ж пытался не давать волю чувствам. Впрочем, разговоры о супруге генерала Твердохлебского, что изредка случались меж офицеров, не больно-то задевали. Эк-ка невидаль, что не ангел! Много ль нынче ангелов, разве что возлюбленная поручика Милютина?.. Впрочем, Анюта — исключение, которое, оказывается, возможно и нынче и которое поддерживало веру Тернового, пускай и слабую, в жизнь. Не будь исключения, может, плюнул бы на все и ушел, куда глаза глядят. А так чувствовал себя обязанным исполнять опостылевшую работу и стремиться защитить Анюту, ее любовь к поручику Милютину и не дать совершиться еще большей напасти.

Софья Никоноровна не была ангел, однако ж вспоминать про нее, испытывая странную, едва ли объяснимую тревогу, стало необходимостью, он мог бы принять это за любовь, но догадывался, что это — другое. А вот что, не знал и, случалось, удивлялся себе ли, тому ли, что делало службу еще невыносимее.

Он пришел на берег реки, где стояли войска, в то вре-

мя, когда там происходило движение. Движение было видно издалека, в нем не чувствовалось осмысленности, словно бы совершалось через силу, помимо воли людей, одетых в зеленые гимнастерки с красными, синими, черными погонами. Стоял ноябрь, его середина, но было тепло, сияло солнце совсем не по-осеннему, по реке шла шуга, она была сильно исколота теплыми лучами, казалось, еще немного — и вся истает и сделается водой.

Терновой недолго ходил меж частей, стронутых с места, кажется, без всякой надобности и с каждой минутою все более обраставших недовольством. Увидел подполковника Алмазова и, хотя недолюбливал, если б не нужда, сроду б к нему не обратился, спросил:

— Где наши?.. С утра стояли на этом месте, а теперь нету...

Алмазов весело поблестел глазами, ответил не сразу.

— Верховный с нами... Сказал, будет при штабе армии, а еще сказал: нельзя ли ударить в стык подходящих красноармейских частей и задержать, пока не будет закончена эвакуация города.

— А она уже закончена, — обронил Терновой. — Или я ни черта не понимаю? Город пуст.

— Что ты говоришь! — воскликнул Алмазов. — А отчего ж тогда эти все здесь?..

Терновой проследил за движением руки подполковника и заметил среди военных самотканые кафтаны, шляпы, фуражки, шапки, и это неприятно поразило: присутствие в армии гражданских лиц разлагающе действовало на солдат и офицеров, мешало сосредоточиться и хоть в половину своего умения исполнять воинскую работу. Терновой за годы гражданской войны вывел для себя закономерность: когда в войсках появлялись штатские, начинались кутерьма и бестолковщина, за которыми следовало поражение.

— А ваши-то артиллеристы там... там... за горушкой. Генерал приказал выкатить на переднюю линию пушки. Иди туда... там ваши... там...

Терновой вздохнул и пошел к горушке, стараясь не задеть никого из тех, кто оказывался на пути, и цепким глазом примечая у кого черный кольт на боку, у кого наган, а у кого кривую, в серебре, казачью шашку.

Терновой служил в Ижевской стрелковой дивизии, впрочем, теперь уже дивизии не было, от нее, прежней, состоявшей из рабочих Ижевских и Воткинских заводов, осталось не так уж много людей, и это обидно, дивизия

считалась сильной частью, славящейся стойкостью и воинским умением. Впрочем, не было и других дивизий. И все они вместе, еще оставшиеся в живых, уже не составляли армию или какое-то другое воинское соединение, а были чем-то особенным... может, войском, большим и громоздким, воистину народным, где находилось место не только солдатам и офицерам, но и их женам и детям, войском, живущим по своим законам и, может, благодаря им, неписаным, все еще верящим в благо, которое непременно придет к ним, гибнущим и страдающим, вослед за несчастьем.

Капитан отыскал батарею, которой командовал, не сразу, и не потому, что не сумел сориентироваться на месте и заплутал, а потому, что красные неожиданно открыли артиллерийский огонь и в войске случилась сумятица и паника, которая усугублялась тем, что в частях было много беженцев. Они, смертельно напуганные, побежали в разные стороны, неистово вопя, что красные наступают, и все пропали... Терновой оказался в толпе, стиснутый, сдавленный, и уж не мог управлять собой, его понесло черт знает куда... Он бывало что и останавливался, а то поспешно срывался с места и бежал... И так продолжалось бы, наверно, долго, если бы впереди не разорвался снаряд. Толпа метнулась назад, сбила Тернового с ног. А потом сделалось тихо, и капитан, придя в себя и схватившись руками за ушибленную голову, которая отчаянно гудела, подумал, уж не контужен ли?.. Но нет, скоро услышал удаляющиеся крики, поднялся с земли и увидел саженях в пяти обезумевших от страха и боли людей. Они ползали по краю воронки, образовавшейся в земле, точно ища в сухой колкой траве. У одного, широкоскулого, с темными, странно желтыми, как яичный желток, глазами, в нагольном полушубке и со шляпой с широкими полями и ярко-рыжими перьями, которую он держал в руке, высоко подняв над головой, словно бы боясь испачкать, была оторвана нога, и он, кажется, еще не понял и все норовил подняться, но всякий раз заваливался на бок, тыча тупым черным обрубком и кровеня землю. А у другого оторвало руку, и он со странным удивлением глядел на то место, где была рука, а потом вокруг себя, точно бы ища ее.

Терновой вздохнул и осторожно обошел ползающих людей. Появилось чувство вины перед ними, кто случайно оказался тут и сделался жертвами войны. Но сумел одолеть это чувство, говоря себе, потому и война, чтоб

были жертвы и среди мирных людей, особенно война гражданская, она никого не обошла стороной и многим ненавистна азиатской лютостью. Чувство вины перед людьми, кто не держал в руках оружие и все ж пострадал, когда Терновой пришел на батарею, сменилось чувством вины перед солдатами: пускай и на время, оставил их, поддавшись тревожному и сладко ноющему, что жило в нем. Небось год назад не сделал бы так, а нынче, разуверившись, посчитал себя вправе уйти с батареи, хотя не мог не знать, чем все могло кончиться. Что ж, иль солдаты не заслуживают того, чтоб относиться к ним с уважением и жалеть? Да нет же, нет, едва ли не каждого знает в лицо, побывал с ними в разных переделках и уж давно уверился в их преданности делу.

— Нехорошо!... — негромко сказал Терновой, спрыгивая в неглубокий, по грудь, окопчик и беря в руки бинокль. То, что предстало перед глазами, смутило. Красные шли на батарею густыми цепями, а впереди себя он не увидел пехотного прикрытия, что обычно выставлялось и успокаивающе действовало на артиллеристов.

— Где же охранение?.. — обернувшись к наводчику, который стоял возле него и тоже держал в руках бинокль, спросил Терновой. Антон Коромыслов, маленького роста, густо заросший рыжим взлохмаченным волосом, солдатик в длинной кавалерийской шинели, не ответил, не услышал, секунду-другую медлил, водя биноклем по живой, надвигающейся цепи красных, потом закричал тонким, пронзительным голосом:

— Прицел... трубка... два патрона... беглый... огонь!..

Над головой заскрипело, заухало, а мгновение-другое спустя Терновой увидел, как над цепью красных, все разрастаясь, начали зависать серые облачка разрывов. Стрельба вышла удачная, и это успокоило Тернового, одобрительно похлопал по плечу наводчика и опустился на дно окопчика, прислонившись спиной к холодной земляной стенке. Ему, собственно, пока нечего было делать, солдаты хорошо знали свою работу, их не надо погонять, рядом с ними находились матери и отцы, дети, милые жены и возлюбленные, все они не захотели остаться на Урале и пошли с войском в Сибирь, и теперь солдаты отвечали не только за себя, а еще и за близких людей и потому готовы умереть, но не сойти с места, и не терпели, когда кто-либо мешал им исполнять работу. Однажды Терновой попытался сделать это, но заряжающий Иван Дымов, здоровенный детина с добрыми, ко всему живо-

му ласковыми глазами, что даже во время боя не теряли привычного мягкого выражения, разве что становились еще смущеннее, сказал:

— Не надо, капитан... Мы нынче можем и сами.

Да, солдаты все могли сами. И в этом виделась выучка, которою Терновой гордился. Не будь его, артиллеристы ничего не могли бы сами. Когда случалась свободная в перерывах между боями минута, он проводил воинские занятия, и солдаты не смели ослушаться, были исполнительны и принимали это как должное, понимая, что капитан старается не для себя.

— Прицел... трубка... огонь... огонь!.. — слышал Терновой, сидя на дне окопчика и затягиваясь мягкой ароматической сигаретой. Она вызывала горловой кашель, с удовольствием закурил бы махорочки, но та вся вышла, в кармане одни крошки, а чтоб попросить у солдат, надо подняться и ползти на батарею (Коромыслов был из староверов и не терпел табачного дыма), а Терновому не хотелось нынче не то что идти под огнем красных, пускай и неприцельным, все ж не таким уж и бесполезным, но даже и рукой пошевелить. И он сидел на дне окопчика, весь во власти той легкой дремы, когда ничего не видишь и не слышишь, только ощущаешь необходимость подняться и что-то делать, но постоянно сминаешь надоедливое ощущение в тщетной надежде, что исчезнет...

Странно, минуту-другую назад все было привычно, а теперь словно бы чего-то не хватало, тишина, тяжелая и упрямая, навалилась и давила на грудь, на уши. Но не обвальная тишина, которая была бы понятна: значит, все покамест кончено, красные отошли, и батарея замолчала, тут была другая тишина, выборочная, она имела прямое отношение к батарее, которая действительно замолчала. Терновой немалым усилием воли отогнал дрему, поднялся, спросил с беспокойством у Коромыслова:

— Что случилось? Отчего молчат орудия?..

— Боеприпасу нету, — с обидой в голосе, которую в немалой степени относил и к самому командиру, не обеспечившему батарею боеприпасом, сказал Антон. Терновой понял его обиду и, тоже вдруг обидевшись и удивляясь себе, поддавшемуся неожиданному чувству, воскликнул:

— А что я могу?! Что?!

Оставаться в окопчике и дальше было бессмысленно. Вылезли и поползли назад, к батарее, прижимаясь к земле и стараясь слиться с высокой, колючей, слегка припорошенной снегом, стелющейся травой. Оказавшись на ба-

тарее, Терновой огляделся и удивился тому, как же она сильно выдвинута вперед, ни справа, ни слева никого из своих, все находились сзади и постреливали из пулеметов, но уж очень суетливо и бестолково, не причиняя вреда красным цепям, которые надвигались на батарею. Он смотрел вперед и почти разглядел лица красноармейцев, суровые, стянутые злобной гримасой, идущих со штыками наперевес, сделалось неприятно и жутко, нестерпимо захотелось вобрать голову в плечи и бежать, бежать... Пропади все пропадом: и война, и люди с той и с другой стороны, озлобленные и ко всему безразличные, умеющие только одно — убивать!..

Возле Тернового оказался маленький шустроглазый солдатик, вдруг сделалось жалко его, в глазах у солдатика прочитал то же самое желание, что испытывал и сам: бежать, куда глаза глядят, лишь бы оторваться от неумолимо надвигающейся красноармейской цепи. Все же и сам Терновой, и маленький солдатик, и те, кто был на батарее, одинаково мучимые одним желанием, не сдвинулись с места, и не потому, что уступили безрассудству отчаяния, просто каждый из них почувствовал, что бежать некуда: позади плескалась река, а мост отсюда далеко, в трех верстах, и там тоже шел бой...

— Все, господин капитан, пропали!.. Пропали!..

Терновой обернулся к солдатику и, кажется, сказал ласковое и необязательное, было странно думать, что все кончилось и уже ничего не будет, но Терновой думал и удивлялся, как же так, ничего не будет?.. И сибирского неба, искристо-белого и глубокого, что так и осталось чужеватым и холодным, хотя и старался полюбить, и реки, по которой шла злая шуга, но ведь знал ее и другой, это когда попал в госпиталь и, слегка подлечившись, подолгу пропадал на ее берегах, впрочем, река тоже осталась чужеватой, хотя часто мнилось в ней теплое и ласковое и, случалось, напоминало о давнем. Да, ничего уж не будет, потому что не будет меня, подумал Терновой. Вдруг появилось чувство, что еще мало сделал в жизни, а если уж быть до конца честным, ничего не сделал, собирался что-то совершить, но так и не успел: сначала мешала учеба в корпусе, потом служба в армии, потом война, растянувшаяся на долгие годы. В сущности, он никогда не принадлежал себе, а обстоятельствам, которых волею судьбы оказывался слугою. То и обидно, что Терновой не принадлежал себе, может, многое для него, сына мелкопоместного рязанского дворянина, не сумевшего сориентиро-

ваться во времени, суровом и жестоком, и потерявшего все, что имел, и кто по этой причине уже ничего не мог предложить единственному сыну, кроме связей в обществе, которое, как ни странно, еще помнило про него, сложилось бы по-другому, если б принадлежал себе.

«Ничего не будет. Ничего... Чудно!..» — снова подумал Терновой, держась за лафет пушки и стараясь унять дрожь в руках, особенно неприятную теперь, когда на него смотрели с надеждой и ждали избавления от неминуемой смерти. Они еще не потеряли в себе человека, не ошалели от страха, но были близки к этому, еще немного, и уж не смогут управлять чувствами, сделаются похожими на обыкновенное стадо. Терновой нашел силы улыбнуться и сказал севшим, вялым и слабым, словно бы не принадлежавшим ему, голосом:

— Спокойно, братцы! Бежать некуда, надо ждать...

Удивился, чего ждать, зачем?.. Солдаты тоже удивились, он понял это по тому, как они с виноватым смущением переглянулись, словно бы желая сказать, что командир растерялся и ему вряд ли стоит доверять, а лучше полагаться на себя.

— Ну, нет! — произнес Терновой громко и, впрочем, все еще упрямо, что было неожиданно для него и для солдат, которые надеялись на него. Мелькнувшее в сознании и сказавшее, что лучше полагаться на себя, было недолгим, исчезло, уступив место привычной уверенности, что командир знает, как отвести беду... А он не знал, его упрямство было иного свойства, и не относилось к людям, а к чему-то личному, душевному. Впрочем, и упрямство оказалось недолгим, смяло его, стоило увидеть впереди, совсем уже близко красноармейскую цепь. «Все, — сказал. — Теперь уж все...» Сказал без отчаянья, с легкой грустью, а может, и не с грустью, с жалостью ко всему тому, что окружало, потому что ничего уж не будет, исчезнет вместе с ним.

В тот момент, когда подумал об этом, сбоку, из-за холма, сгорбленного и угрюмо нависшего над рекою, вылетела легкая, не растерявшая самоуверенности, грозная не только с виду кавалерийская лава. Красноармейские части сбились с налаженного шага, а спустя немного, дрогнув, начали отходить...

3

Это, спасшее жизнь батарейцам капитана Тернового, случилось благодаря вмешательству Верховного и было противно желанию командующего. Генерал видел всю бессмысленность и тщетность фронтальной атаки на пришедшие в движение части Красной Армии. Понимал то, чего не умел заметить Верховный. Понимал, что красноармейские полки нынче уже не те, что в восемнадцатом году, когда меньше всего походили на воинские подразделения, а напоминали разноплеменную орду, мало смыслящую в военном искусстве, еще не знающую, чего хотят те, кто послал ее в заволжские степи, и легко поддающуюся панике. Нынешние красноармейские части знали, за что воюют, а самое главное, умели воевать. Их не могла привести в смущение отдельная, пускай и лихая, атака немногочисленных сотен войскового старшины Красильникова, которую не в силах были поддержать другие воинские подразделения. Впрочем, Верховный хотел бы привести в движение все войско, но тут уж генерал решительно воспротивился, сказал, что солдаты устали, в ротах нынче не более чем по семь—десять человек, в то время как красные полки не испытывают недостатка ни в людях, ни в боеприпасах.

Адмирал был удивлен, кажется, и не догадывался о действительном положении. Впрочем, отчего же, кажется?.. Он и впрямь не догадывался, а если бы даже догадывался, это мало что изменило бы: Верховный являлся блестящим морским офицером, учеником великого Макарова, но о других родах войск имел смутное представление, как, впрочем, о стратегии и тактике ведения сухопутной войны.

Итак, атака отдельной кавалерийской части была предпринята. Она заставила отступить какую-то красноармейскую часть, потом попала под огонь артиллерии противника, была рассечена надвое и практически полностью уничтожена введенными в действие эскадронами. Это происходило на глазах у солдат и офицеров белого войска, которые ничем не могли помочь. Из-под невысокого укрытия из насквозь прогнивших бревен и земли, поднятой со дна окопчиков, наблюдали за избиением казаков русоголовый и длинноногий, с узкими, слабыми плечами двадцатипятилетний поручик Милютин и артиллеристы из батареи Тернового.

— Господи, боже мой, чё деется-то, чё деется?.. — го-

ворили солдаты и с тоской глядели на мечущихся по полю казаков, которые с трудом отбивались от многочисленных красных конников.

Милютин молчал. В светлом, с мягкими и тонкими чертами лице застыло напряженное ожидание. И это было не грустное ожидание, а совершенно обратное тому, что нынче предполагалось бы увидеть. Поручик не испытывал сожаления к гибнущим под ударами красных казакам, наблюдал их в другом деле, когда на взмыленных конях носились по городу и стреляли в каждого, кто казался подозрительным. В те декабрьские дни, последовавшие после нападения большевиков на тюрьму, погибло много людей. Они не имели ни малейшего представления о том, за что гонимы и избиваемы казаками. Тогда поручик приехал в Омск по поручению командующего народной армией и неожиданно был арестован головорезами атамана Красильникова и препровожден в тюрьму. Первые дни возмущался, требовал в камеру, где, кроме него, находилось еще восемь человек, офицера, но никто не хотел слушать, и он смирился. В какой-то момент даже подумал, что не выйдет отсюда, это когда стал свидетелем того страшного, что случалось каждую ночь в тюрьме. Вместе с ним сидел офицер для особых поручений из латышского корпуса генерала Гоппеля. Он рассказал, что приехал в Омск с заданием непременно увидеть хотя бы начальника штаба и поведать о бедственном положении, в котором оказались латышские части. А поведать было о чем... Эти части, теснимые красными, шли по туркестанской земле, оборванные, голодные, по суткам не имея воды. Люди до того устали, что уже не могли стоять на ногах. С огромными мучениями дошли до Атабаазара. Тут вдруг выяснилось, что Башкирский кавалерийский полк, незадолго до отступления в Туркестан влившийся в корпус, впал в немилость к Верховному, а может, не к нему, а к тем людям, что окружали адмирала, и были настроены противу всего нерусского и хотели бы обойтись собственными, осиянными православием и народностью, силами, и тот принял решение расформировать единственную кавалерийскую часть в корпусе, за короткое время проявившую себя с лучшей стороны.

Офицер по особым пручениям имел задание рассказать об этом и потребовать объяснений, но рассказать не дали, посреди ночи подняли с постели и отвели в тюрьму, а на рассвете начали спрашивать, откуда он и зачем ока-

зался в сибирской столице? А когда узнали, что из корпуса генерала Гоппеля, словно бы даже обрадовались и потребовали подписать бумагу, где было сказано, что солдаты корпуса при отступлении грабили церкви и убивали много людей.

Милютин до утра просидел возле офицера из корпуса генерала Гоппеля и слушал все слабеющий голос, не умея помочь и от своего неумения мучаясь ужасно. В камере находились еще люди, но они не обращали на них никакого внимания, жили своей болью и тревогой, которая отчетливо виделась в лицах, в глазах, устремленных бог весть куда, но только не на того, кто стоял рядом. Кажется, тогда впервые Милютин понял, что всяк на земле существует сам по себе, и то, что хотя бы на время способно объединить людей, есть привнесенное извне, чуждое человеческому духу. Он понял и удивился, что понял так поздно. Мог бы, кажется, догадаться и раньше, еще на той войне, когда сидел во фронтовых окопах и терпеливо дожидался смерти. Теперь-то знает, что только тем и жил, а все другие чувства, которые тоже доводилось испытывать и которые, случалось, мучали, были подчинены одному — ожиданию смерти. То же самое ожидание видел и в лицах солдат, что по его приказу готовились пойти вперед, под пули. Это было то единение, которое не радовало, но существовало и уравнивало людей, от старшего чином офицера до подносчика снарядов. Однако стоило отойти в тыл, на переформирование, как единение рушилось, и люди делались такими, какими были бы, если бы не война...

Да, он мог бы понять и раньше, что всяк на земле живет сам по себе, и если этого не случилось, то лишь потому, что не имел достаточно времени серьезно подумать, а полагался на чувства, что оказывались легко возбуждаемы, но тут же и угасали, впрочем, порой и просто на инстинктивные желания, что возникали, тоже быстрые и легко осуществимые.

Офицер из корпуса Гоппеля к утру скончался, но Милютин не сразу заметил, с неослабным вниманием, на которое нынче был способен, наблюдал за теми, кто находился в камере, и едва ли не с удовлетворением отыскивал в них общее для всех гунливо-страдальческое выражение в лицах и думал, что этого не было бы, если б люди находились в привычной для себя обстановке, а не в ненавистной камере. Он думал так и, не являясь человеком, желающим кому-то зла, видел в случившемся с

людьми в камере закономерность. В самом деле, иль что-то на земле совершается просто так? Да нет же, нет, только мы не всегда умеем отыскать причину совершаемого и называем ее случайностью, что подчас кажется необязательной, словно бы сошедшей с небес по воле всевышнего. Но ведь и всевышний не в состоянии предусмотреть каждый наш шаг, да он и не стремится к тому, удовлетворяясь однажды выведенной им же самим закономерностью, которую отпустил земле и которая теперь, часто видимая людьми как случайность, правит миром.

— А барин-то помер,— сказал худотелый мужичок в лаптях на босу ногу и в драном армячке и низко склонился над офицером, перерезавшим себе вену. Милютин очнулся, поглядел на мужичка, которого отчего-то не рассмотрел прежде, и тоже склонился над умершим и увидел, что руки у того в крови и в стекленеющих глазах застыло горькое и страдающее выражение.

— Изошел кровью несчастненький,— сказал мужичок. Милютин удивился той смущенной и виноватой интонации, что прозвучала в голосе мужичка, словно бы и он повинен во всем, что нынче происходит и не только в камере, а на земле.

«Чудно... — со смущением, которое передалось и ему, подумал Милютин.— Откуда у него вселенская виноватость?.. Иль не похож на нас мужичок-то? Иль мало ему своей боли и обиды, что берет еще и чужое, даже самое подлое?..»

Эта вселенская виноватость была несродной тому, что происходило в камере. Она не могла не заинтересовать Милютина, показалась доброй и нежной и чуждой безжалостному миру. Милютин подошел к мужичку и спросил, кажется, о том, за что его, беднягу, держат в камере? Мужичонка улыбнулся и ответил, что не знает, пришли поутру и взяли... Помедлив, добавил: тут, поди, никто не знает, отчего оказался в камере, и те, кто нынче мучает людей, потехи ради стреляет по тюремным окошкам, тоже не знают, отчего мучают и отчего стреляют? Нынче никто про себя не понимает, время такое, люди словно бы потеряли умное и сильное и уж нипочем не найдут...

Мужичок говорил с тою же виноватостью в голосе, которая так поразила Милютина и на какое-то время заставила отвлечься от мысли, что мнилась единственно правильной, будто всяк на земле живет сам по себе и никому нету дела до другого. Но скоро это прошло, му-

жичок стал чудиться диковинкой, заброшенной в чуждую ему жизнь. Недолго еще пребывать диковинке на плаву, вот сделается ветрено, студено — и завянет, и уж никто про нее не вспомнит.

Кажется, те, кто был в камере, относились к мужичку тоже как к диковинке, с той лишь разницей, что их диковинка раздражала, уводя из мира собственных чувств, которые единственно казались стоящими внимания. И, когда мужичок начинал говорить, а говорил он чаще про то, что больно ему не за себя, а за тех, кто нынче возле него, люди морщились и не хотели верить и норовили отойти в сторону.

— Изошел кровью несчастненький,— снова сказал мужичок и, подойдя к двери, стал стучать в нее. Он оказался терпелив и дождался, когда в камеру вошел надзиратель и сурово оглядел людей, увидел умершего, велел мужичку, взяв кого-либо из камеры, убрать мертвого. Мужичок охотно исполнил приказание, скоро вернулся, подсел к Милютину, спросил, не надо ли чего?.. Тот удивился и поспешно сказал, что ничего не нужно, и хотел отодвинуться, вдруг подумал, что тот не в себе и от него можно ожидать бог весть чего, но скоро сделалось совестно, сам не ожидая, сказал с горечью:

— Не понимаю... Не понимаю, что происходит...

Мужичок вздохнул, долго молчал, задумавшись, а потом стал говорить про то, что, может, и не надо ничего понимать, может, незнание и есть благо?..

— Ты так думаешь?..— растерянно спросил Милютин.

— И ты так думай, если по нраву,— поспешно сказал мужичок.— Может, полегчает, отступит маета, придавленная благостью. Ить она такая и есть, сама по себе вроде б сильна и чуру ей нету, а рядышком с благостью, которая от сердца, не так страшна, случается, отступит, потеряется.

Потом Милютина увели, последнее, что он услышал от мужичка, были слова:

— Из староверов я Енисейской губернии... Доведется побывать в деревне Колотушкино, сыщи меня ли, матушку ли мою, брательника ли... А покудова прощевай!

«Прощевай, добрый человек!..» Милютин ли так сказал, подумал ли, теперь не знает. А еще подумал, что не встретятся больше: на расстрел уводили из тюрьмы ночью, и за ним пришли ночью. Пришли, долго везли куда-то... А когда его столкнули с телеги и с десяток таких же, как он, ошалевших и мало что понимающих, на горизон-

те посветлело, бледная розовость растеклась по краешку неба и пала на землю, дрожащая. Сквозь розовость, потеснившую темноту, Милютин увидел большую, лениво и ко всему безразлично посверкивающую реку и крутой, илисто-белый берег, на душе сделалось томительно и горько, и отчего-то мучительно жалко сибиряка. «А ты не прав... не прав, мужичок». Какие-то видения вдруг взнялись перед глазами, тусклые, едва различимые посреди розового, от края до края, сумерка. Не было в видениях ничего от прежней жизни, словно бы пришли со стороны, и не за тем, чтоб утешить, а чтоб еще пуще помучать...

Милютин стоял в ряду с другими и слышал, как справа от него и слева вскрикивали люди, как свистели в утреннем морозящем воздухе шашки, падая на рабски покорные, ни об чем уж не помышляющие, смирившиеся с неибежностью и, казалось, находящие в этом смирении успокоение людские головы, и все ждал, что и до него дойдет скоро. Но думал не об этом, не о том, что сделается землей и ничего-то уж ему не надобно будет и придет освобожденность от всего, желанная, случалось и так прежде мыслить, вот, именно, желанная посреди неверья и суеты... Нет, не об этом думал, о другом, споря с видениями, неугадливыми и злыми. Не хотел бы подпасть под их власть и находил в себе упрямое и дерзкое, чтобы противостоять им. Он так увлекся этой невидимой чужим глазом борьбой, что скоро уж ничего не слышал, и был удивлен и раздосадован, когда кто-то, за серой казачьей шеренгой, сказал:

— Молите бога, поручик, что живы. Нынче вас ждут в штабе Верховного.

Видения ушли вместе с казаками. Как ни силился, не мог отыскать их, даже не умел сказать, о чем они были... Но ведь были же! Были!..

Милютин оглянулся и понял, что он один в ряду, но не стал смотреть вниз, на землю, глухое, болезненно острое, не относящееся к нему, но витающее над ним, такое же упрямое и дерзкое, что минуту-другую назад нашел в себе, помешало, сдвинуло с места, кинуло в холодный, почти незнакомый город.

Уж много позже дошло, что своей жизнью обязан командующему, услышал, как поступили с ним, и был разгневан и писал Верховному... А еще дошло: его потому и хотели уничтожить, что заподозрили в нем социалиста-революционера....

Поручик холодно наблюдал за избиением казаков, ко-

торое происходило у него на глазах, шептал яростное. Солдаты, которые были рядом, с растерянностью глядели на него, думая, что происходящее выбило поручика из колеи, хотели бы помочь. Но всякий раз, когда пытались увести его в другое место, тот говорил сердито:

— Ах, оставьте, пожалуйста!..

Поручик не был военным человеком, к тому же имел привычку, про которую солдаты хорошо знали, вдруг вроде бы совершенно не к месту показать себя не военным человеком. Эта привычка нравилась, далеким, теплым и нежным веяло от нее.

— Ах, оставьте, пожалуйста!.. — снова сказал он, но уже не солдатам, а тем мыслям, что нечаянно нахлынули и велели с холодностью смотреть на избиение казаков. На какое-то время засовестился: можно ль искать причину собственных несчастий в других людях? А что как она в обстоятельствах, в которых мы, не чая того, оказались, но, может, и не в них, а в самом себе?.. Он подумал так и смутился: странно, что же я, совершенно не знаю себя? Отчего же во мне?.. В чем я-то виноват?..

Во всякую пору хотел бы думать о себе как о малой травинке, сухой и легкой, которую однажды поднял ветер и вот теперь несет ее по белу свету, несет, и нету этому шальному блужданию конца и края... Думать так было приятно, успокаивался: дескать, что я-то могу, травинка слабая, когда люди и посильнее потерялись и уж не скажут, что ожидает завтра?..

Но вот теперь те, еще недавно умиротворяюще действовавшие мысли, вызвать которые ничего не стоило, не успокаивали... Были вялые, тусклые, при каждом удобном случае исчезали, уступая место другим мыслям, от которых становилось горько. И, когда приходили другие мысли, неизменно вспоминал мужичка, встреченного в тюрьме. Уж и не помнил всего, о чем тот говорил, одно и зрилось: виноватость едва ль не вселенская в тусклом, сморщенном, добром лице мужичка. Она смущала, эта виноватость, и властно притягивала к себе. Порою и сам нынче думал, что тоже виноват перед людьми, хотя и не сказал бы, отчего же он-то виноват?..

— Ах, оставьте пожалуйста!.. — в который раз за нынешний день сказал поручик, но уже не мыслям, что нечаянно нахлынули, а очутившемуся подле него корнету Бельскому, румяноликому и стройному, нетерпеливо переминающемуся с ноги на ногу, точно бы ожидая особенного при-

казания, исполнение которого позволит прекратить избиение казаков.

Бельский был, что называется, военная косточка. Во всяком случае, про себя так думал и с презрением относился к людям, для которых военная служба не составляла смысла их жизни. Не принадлежа к знатному роду и не обладая особенными свойствами души, что позволили бы отличиться и занять в обществе приличное, в согласии с самолюбием, место, Бельский, впрочем, не сам, а по настоянию отца, с малых лет готовил себя к военной службе. Но, может, именно это — излишнее рвение, а еще, конечно же, обстоятельства, против которых был бессилен и которые требовали характера другого, чем тот, что воспитал в себе, мешали Бельскому продвигаться по служебной лесенке. В свои двадцать пять он был корнетом и мучительно переживал, хотя чаще и не показывал виду, и с острой досадой смотрел на молодых генералов, многих знал в ту пору, когда являлся кадетом. Спрашивал у себя: почему он, а не я командую полком ли, дивизией ли, иль я меньше смыслю в военном искусстве, иль нету во мне твердости и желания служить Отечеству? Спрашивал и не находил ответа.

Он не был своим среди солдат, не был своим и среди офицеров, людей часто сломанных обстоятельствами и в глубине души не верящих в успешное для них окончание гражданской войны. Человек неглупый, Бельский понимал это, но словно бы нарочно, из странного упрямства не желал поломать все, что отдаляло от людей, словно бы нравилось находиться в стороне ото всех и думать по-своему и стремиться к чему-то особенному...

— Что же он делает? Что же делает?..— точно бы не услышав досады в голосе поручика Милютина, тонко и пронзительно сказал Бельский, глядя на избиение казаков, которым уже никто не в силах был помочь.— Я бы поступил совсем не так. Я бы поступил по-другому, и, смотришь, все обошлось бы и теперь бы казачки... Да, да...

Он сказал то, что неизменно говорил на протяжении ряда лет, привычно ставя себя на место командира и находя в распоряжениях последнего много противного разуму, что, конечно же, идет от неумения принять верное решение. «Вот если бы я... Если бы!..»

Странно, никто этого не видел, не видел его страстного стремления сделаться полезным делу и никто не предложил попробовать его в более значительном и важном, чем то, что исполнял нынче. Про него словно бы

позабыли, он продолжал оставаться корнетом, в то время как другие подымались все выше и выше по служебной лесенке. Это было обидно, тем не менее он не терял присутствия духа и верил в свою звезду, хотя понимал, что война заканчивается и еще неизвестно, где сумеет отличиться, возвыситься, распахнуть перед людьми неистраченные возможности души и тем ослепить их. Но что так, в конце концов, случится, не сомневался. И теперь уж не рвался вперед, не подставлял себя под пули без надобности, как раньше. «Мне нельзя умереть,— говорил.— Я еще не все успел...»

Избиение казаков подходило к концу. И вот уж по полю ошалело носились лишь отдельные всадники в лохматых шапках с желтыми верхами, тщетно пытаясь вырваться из огненного кольца. А скоро и их не стало, но еще долго испуганно всхрапывали кони.

— Все,— устал сказал Милютин и с недоумением, словно бы лишь теперь заметив, поглядел на Бельского.

— Да, все...— взохнул корнет.— Но если бы у нас были снаряды и пулеметные ленты, могло бы сложиться по-другому, однако ничего этого нет и неизвестно, будет ли?..

Милютин усмехнулся, опустил голову, когда же снова поднял, увидел, что красные войска безбоязненно, конечно же, зная, что у белых нет снарядов, начали сосредоточиваться в одном, видном со всех сторон, у изножья бугра, месте, а спустя немного сдвинулись, пошли, покатились, но не прямо в лоб, на передовые части белых, а чуть вправо, минуя их и норовя оставить у себя за спиной.

Войско шло по сибирскому тракту, близ железной дороги, изредка отступало от нее, да так, что терялись из виду пути, заставленные вагонами, в которых слышалась какая угодно речь, только не русская, и, когда это происходило, генерал чувствовал себя спокойне, чем когда войско держалось железной дороги и солдаты видели то, что творилось в вагонах. А творилось там совершенно, казалось бы, лишенное смысла, противное человеческому духу: солдаты, слава богу, не русские, дрались за каждое место и готовы были перегрызть друг другу глотку. Генерал опасался этой, как полагал, спятившей с ума вольницы. Она могла подействовать на моральный дух войск. И всякий раз, когда выпадала надобность идти вдоль железнодорожного полотна, приказывал командирам следить за колоннами, чтоб солдаты не могли ощутить дурного влияния спятившей с ума вольницы. Его

распоряжения исполнялись неукоснительно.

Так продолжалось до тех пор, пока Верховный не предложил генералу принять командование над всей массой отступающих войск, а не только над той его частью, которая подчинялась ему и прежде. Генерал мог бы отказаться, но полковник Войцеховский и другие военачальники не советовали, понимая, что никто нынче, кроме него, не в состоянии справиться со всей войсковой массой, стремительно теряющей боевые качества и уже едва ли способной защитить себя. Понимал это и сам генерал и, веря в свою звезду и зная, что ничего больше не остается, согласился. А согласившись, сразу же почувствовал, сколь тяжек груз, легший ему на плечи. Вчера с утра вместе со штабом проехал сибирским трактом, по которому отступало войско, и был неприятно поражен тем, что увидел. Войско растянулось на версты. Многие части потеряли управление и не подчинялись не только командованию, которое вроде бы позабыло про них, а и естественному ходу событий, то есть в каждом отдельном случае исполняли то, что исполняли другие, но исполняли во много раз хуже и безответственнее, потому что никто ничего не требовал, а сами они и раньше не отличались воинским умением.

Генерал приказал влить эти части в свои, прежние, дисциплинированные и стойкие, отдал еще ряд приказов, не отличавшихся особой оригинальностью, которые мог бы отдать и другой. Он знал это, но не смущался. Уже давно понял, что дело не в приказе, а в том, кто отдает приказ, то есть в личности командира, во всем, что окружает его имя, чаще это легенда, в которую верят или не верят и, если верят, готовы идти за ним на любые лишения. А ему верили, это поддерживало дух, сам по себе не всегда стойкий, случались и с ним минуты отчаяния, впрочем, о них не знали даже в близком окружении. Так было и на этот раз, когда он увидел толпы людей, поспешающих за войском, которые, узнав генерала, взывали к нему с мольбой, просили о том, чего он не мог им дать. Смотрел на них с недоумением и с растерянностью и спрашивал у себя:

— Ну, зачем им-то с малыми детьми и со стариками идти бог весть куда?..

А потом пришло отчаяние, это было длительное отчаяние, он не хотел никого видеть и, лишь когда овладел собой, начал исполнять то, что надлежало исполнять по воинскому его долгу.

Среди беженцев генерал встретил странного человека, не то бродячего монаха, лишенного крова, что нынче сделалось естественно и не вызывало ни у кого даже удивления, не то странника бредущего нескончаемой дорогой. Был тот худ и слаб, кажется, телом, с пышной черной бородой и с маленькими острыми щелками глаз, точно бы зрящими не только то, что происходило вокруг, а и способного заглянуть в чужую душу и понимающего про эту способность и часто помимо своей воли пользующегося ею, а потом долго и мучительно раздумывающего про то, что узнал, и не умеющего найти успокоения собственной душе. Тот человек в длинном черном халате, натянутом на курмушку, увидел генерала, подошел к нему и, дотронувшись желтой узкой рукой до стремени, хриплым и дрожащим, как бы через силу пробивающимся сквозь застылое горло, голосом сказал:

— Енти-то, следом за войском поспешающие, почитают тя за Моисея, кто из Египту вывел свой народ. Худо!.. Ить ты не ведаешь, где она, земля-то обетованная.

Генерал был смущен тем, что услышал, и спросил у странного человека, отчего ж люди почитают его за Моисея, помедлил, дожидаясь ответа, но так и не дождался, сказал, что никуда он не собирается выводить народ, а лишь исполняет свою работу, в данном случае, воинскую работу, и, судя по всему, не всегда хорошо. Он так и сказал: не всегда хорошо,— и странный человек с интересом посмотрел на него, точно бы не поверил. Впрочем, генерал и сам себе не поверил, уж очень неожиданно, с такой не похожей на него легкостью были произнесены эти слова. Все же он сказал то, что сказал, и теперь, отвлекшись от монаха и на минуту позабыв про него, думал, чего же больше в словах: искренности или игры, затевать которую с человеком малознакомым и так далеко отстоящим от всего, чем жил нынче, и особенно от того, чем жил прежде, а ту жизнь он не забывал и в самые тяжкие минуты, не больно-то хорошо относясь к ней, но и не умея до конца избавиться от мыслей про нее, словно бы она уже давно стала частью его существа, возможно, не самой главной и наверняка не самой главной, он не собирался. Однако ж, подумав, с неудовольствием решил, что игры в его словах было больше, чем искренности. А подумав, перенес неудовольствие собой на странного человека, поморщился или еще как-то выказал неприязнь. Это тотчас заметил подполковник Алмазов, крупнотелый, с толстой красной шеей и с такими же

красными злыми глазками на мягком, белом, рыхлом лице. Взгорячив коня, он едва не наехал на странного человека, угрожающе поднял хлыст над головой, точно бы собираясь ударить, и, кажется, ударил бы, если бы генерал не сказал с досадой:

— Вы что, подполковник, не в своем уме?

Генерал отъехал. Аламазов, находясь в небольшой, из четырех человек, свите, поспешил следом и скоро поравнялся с ним.

— Что за человек?..— спросил генерал.

— Солдаты говорят, божий... Но, может, и нет, всего лишь шпион, Ваше Превосходительство. Уж не в первый раз окажется то у нас, то у красных... Ходит-бродит по земле, и никто не трогает его. Солдаты, те даже привыкли к нему. И, если его долго нету, спрашивают, куда подевался, и бывают довольны, когда он появляется снова. Надо разобраться с ним. А что, если он и вправду шпион и лишь делает вид, что божий человек?..

— Оставьте, подполковник,— хмурясь, сказал генерал.— Не трогайте его. Пущай бродит...

Странно, что заинтересовался этим человеком и даже говорил о нем. Все, кто находился возле генерала, так и подумали. Но сам он придерживался другого мнения. Вдруг показалось, что и прежде встречался, и причем не однажды, со странным человеком и что-то далекое связывало их между собой. Впрочем, это, конечно же, не так, но генералу по непонятной причине хотелось считать, что именно так, и, как нередко случалось в последнее время, не особенно для него удачное и даже совсем неудачное (разве можно записать в актив теперешнее отступление?..), он поверил в то, что так и было. А поверив, уже не сердился на странного человека, который говорил с ним резко, словно бы имел на то право. Впрочем, генерал старался не вспоминать об этом, гораздо приятнее вспоминать о другом... о признании странного человека, что люди надеются, что он, генерал, выведет их... Он только не понимал, куда должен вывести людей и надо ли выводить?.. Не лучше ли доверить их собственной судьбе, авось да и обойдется и минет гроза, и они разойдутся по домам и каждый станет вершить то, что и раньше: рожать детей и думать о завтрашнем дне и уж не пожелает помнить о горьком и тягостном?..

Генерал вздохнул и с досадой хлестнул коня плеткой. Тот, не ожидая этого, взвился на дыбы, а потом пошел наметом, все больше набирая ход. Генерал не удержи-

вал, даже был доволен, что конь легко подчинился его воле и понес... День-другой назад и мысли такой не приходило, но стоило войску оставить Омск, как сейчас же, точно грибы после дождя, начали появляться партизанские отряды. И теперь белое войско вынуждено было отряжать на борьбу с ними немалые силы. В сущности, войско оказалось окруженным, ему не на кого было надеяться, а только на себя, на свое воинское искусство. Странно, что так получилось. До недавнего времени генерал считал, что действует во имя высших интересов народа, в частности русского народа, волею несчастного случая подпавшего под власть большевиков, которые в его представлении всего лишь узурпаторы, коварно и подло разогнавшие правительство народных избранников, и борьба с которыми есть святое дело для честного русского офицера. Он так считал и теперь с той лишь разницей, что это убеждение уже не являлось безоговорочным, а словно бы надломилось при встрече с тем, что творилось вокруг. А творилось непонятное: полагая, что борется во имя высших интересов русского народа, он вдруг увидел, что этот самый народ отвернулся от него и, даже хуже, стал относиться к нему явно враждебно. Впрочем, он мог бы успокоить себя тем, что сам-то меньше всего повинен в этом, а повинны те, кто вместо того, чтобы воевать с большевиками, вели себя, находясь в глубоком тылу, самым подлым образом, оказываясь в деревнях, не согласных с политикой правительства. Он словно бы пытался утешиться мыслью об этом, но то было слабое утешение и скоро исчезло, истаяло, благо, что имелись еще люди, которые надеялись на него, это и поддреживало, заставляло не опускать руки, как бы ни сделалось на душе смутно и тоскливо.

Генерал въехал на поднявшуюся над голой равниной землей сопку и остановил коня. Все, кто следовал за ним, далеко отстали и теперь были маленькие черные точки в белом пространстве, длинной узкой змеей было войско, следом за которым, едва прикрытые арьергардными частями, тянулись многочисленные повозки беженцев. Генерал долго смотрел на открывшуюся взору картину, и у него защемило на сердце, слабым и безвольным, едва ли способным защититься показалось увиденное, возникло ощущение, что при малейшем толчке извне все это искусственно связанное рассыплется, станет пылью. Неприятное ощущение! Поскорее бы избавиться от него! Но попробуй-ка избавиться!.. Еще долго генерал пребы-

вал в подавленном состоянии духа, а пришел в себя, когда подъехали офицеры, сопровождавшие его в поездке. Он поглядел на них, усталых, на взмыленных лошадях, и в их глазах заметил растерянность, впрочем, теперь естественную, которая шла от непонимания того, что происходит с командующим, и усмехнулся. Он усмехнулся не зло, с отчетливо зримым участием, и тотчас же в их глазах, помимо растерянности, рассмотрел тут же самую надежду, что и у беженцев. Это окончательно успокоило, придало сил, он мысленно сказал: «Ну, что ж, все правильно, я знаю, что надо делать, один лишь я знаю...» Вздохнул и медленно съехал с сопки.

В штабе шла обычная, наполненная суетой и бестолковщиной работа. Склонившись над картами, негромко и с неудовольствием говорили старшие офицеры, а те, что поменьше чином, занятые другой, невидимой глазу работой, со вниманием прислушивались и переглядывались, всяк про себя зная, что он поступил бы иначе, а не так, как предлагали старшие офицеры.

Генерал вошел под серый трепещущий на ветру тент палатки. Все, кто был в штабе, засуетились пуще прежнего, словно бы давая понять, что и без командующего они заняты работой, а только при командующем, коль скоро он вошел, в состоянии сделаться еще расторопнее и он не может быть недоволен ими. Генерал почувствовал это и устало улыбнулся. Морщины, ярко приметные на бледном и длинном, с прямым тонким носом лице разгладились, а в светлых, почти прозрачных глазах затеплилось лукавое. Это было так неожиданно, что младшие офицеры, словно бы по команде, прекратили работу и уставились на генерала, не узнавая его.

— Ну, что же вы?..— снова с прежней интонацией в голосе, которая не была знакома никому из людей в штабе, но которая ясно сказала, что командующий нынче доволен ими, произнес генерал и прошел к столу, а точнее, к двум ящикам из-под снарядов, на которые настелена карта, сплошь исчерканная синим и красным карандашом. Долго смотрел на нее, все больше удивляясь обилию синего цвета, коим традиционно обозначался противник. И в нем снова шевельнулось чувство непокоя, но не дал ему возможности сделаться сильнее и завладеть всем существом его, подмять под себя, сказал отрывисто и четко, без прежней расслабленности в голосе, и офицеры подумали, что ее сроду не было, а только бог весть по какой причине увиделась:

— Мы в окружении... По всей Сибири поднялось партизанское движение, имеющее целью борьбу с нами. Я не знаю, отчего так произошло. Но это факт... От нас зависит, жить ли нам, умереть ли в бесславии?.. И все же я надеюсь на лучшее.

Он сказал: я не знаю, отчего так произшло?.. А подумал, что и Верховный не знает, хотя и не спрашивал у него, уверен, что не знает, впрочем, чего ж проще: одна жестокость рождает другую, и неважно, какая из них первая, какая вторая... Он сам, да и адмирал, наверное, тоже, каждый из них мог бы, взяв это объяснение за причину, сказать, отчего так произошло?.. Но что-то мешало принять это объяснение, может, очевидная его легкость. В самом деле, разве все так просто?.. Если бы было все так просто, он не мучался бы, как нынче, и наверняка сыскал бы что-то, способное изменить теперешнее положение. Но он не умел ничего сыскать, не умел ничего изменить. Та заданность, которая лишь и оставалась ему, была сурова и требовала проявления высшей, может, сверхчеловеческой воли, она, и только она, способна заразить людей единой мыслью и единым устремлением. И он был готов к проявлению подобной воли, однако в нем что-то противилось этому: не так ярко и не так убедительно, и все же... все же... Я ведь, кажется, уж приучился относиться к естественному ходу событий именно как к естественному, смутно чувствуя, что никто тут не не властен поменять что-либо. Всякое вмешательство есть преграда этому ходу. Он и адмиралу так сказал, когда тот выразил желание отступать вместе с войском. Нет, сказал он, Ваше Высокопревосходительство, вам лучше быть в стороне, у меня такое чувство, что ваше присутствие будет только мешать войску примерно исполнять свое дело. Он сказал так, понимая, что адмиралу придутся не по нраву его слова. Но иначе сделать не мог, думая не о себе, а о войске, которое необходимо вывести из окружения, не дать уничтожить.

Надобность применения собственной воли и привычка подчиняться естественному движению событий, видя в них выражение разумного, сильного, столь крепко столкнулись в нем, что в первые минуты он растерялся, а потом, подавив растерянность, еще долго пребывал в смущении. Но и теперь в нем жила раздвоенность, как если бы сознание состояло из двух половинок, каждая из которых стремилась править его существом. Он прислушивался к себе, ко всему, что жило в душе, и ощущал эту

раздвоенность и удивлялся. Хотел бы, чтобы исчезла, но она не исчезала, и это странно. Впрочем, многое в нем нынче странно, тем не менее он не желал бы знать причину происходящего с ним и еще больше не желал бы, чтоб кто-то догадался, каково нынче ему. Он нахмурился и заговорил о тревожном положении, в котором оказались войско и все, кто шел за войском и кто в представлении генерала, он лишь сейчас подумал так, тоже были народ, который надеялся на него, ждал спасения.

Он заговорил о войске и о противнике, и старшие офицеры, внимательно следящие за тем, что он показывал на карте, постепенно проникались уверенностью и уж не выглядели потерянно, как прежде. А в нем самом еще не было уверенности, она жила лишь в голосе, но это ничего не значило, скоро все станет на свое место. Он полагал, что естественное движение событий на его стороне и поломать этого никто не в состоянии, даже противник, многократно превосходящий силы его войска, ослабленного длительными переходами и едва ли не полным отсутствием боеприпасов.

— Господь не оставит нас! — сказал генерал, и сейчас же ему сделалось неудобно, опустил голову и отвернулся от офицеров, а потом быстро вышел из штаба.

В войске произошла перемена, которая обещала скорое движение. Короткий привал, что был устроен, заканчивался, и люди, недовольно ворча, но не смея ослушаться, подымались, негромко переговаривались, бренчали котелками, торопливо закидывали за спину мешки, разбирали тускло поблескивающие на негреющем ввечеру солнце желтыми штыками японские карабины и русские трехлинейки и строились поротно и уже готовы были к выполнению приказа, который отчего-то медлил привести их в движение, энергичное и направленное в одну сторону, куда теперь глядели солдаты с надеждой и упрямством на исхудавших лицах.

Генерал смотрел на все это, не однажды видимое, успевшее сделаться близким и дорогим, и на душе с каждой минутой становилось не сказать, что спокойно, скорее, умиротворенно, хотелось верить в лучшее и не думать об опасности, что подстерегала на каждом шагу. Но умиротворенность скоро покинула генерала, вдруг вспомнил несчастное присшествие, случившееся у моста, чему причиною, уж себя-то не обманешь, было его решение. Старался не думать так, но не думать не мог и уж в который раз мысленно видел перд глазами разыгравшуюся траге-

дию, больно сжималось сердце. Да, он виноват в смерти людей, застигнутых взрывом моста на том берегу. Но разве он один виноват?.. Разве он в состоянии справиться с обстоятельствами, которые страшны как раз тем, что естественны и никому не подчиняются, одному лишь Богу?.. Нет, он не в силах справиться с обстоятельствами и раньше замечал, что не в силах. Но тогда отчего же так тревожно?.. У себя ли спрашивал, а может, у комдива, и нынче противостоящего ему, кого привык уважать за сметку и воинскую умелость?.. Странно, что тот не остановил побоища. А может, просто не увидел, занятый делами более важными, чем неожиданно сотворившееся у моста несчастное происшествие?.. Скорее, так и было, он хорошо изучил повадки комдива и знал, что тот решительно против напрасного пролития крови.

Усилием воли генерал заставил себя не думать о несчастном происшествии, и это, правда, не сразу, удалось. Мысли его переключились на другое, сказал:

— Надо пробиваться к Новониколаевску. Адмирал обещал создать там линию обороны. Впрочем, адмирал много чего обещал...

5

Батарее капитана Тернового приказано остановиться и занять позицию на невысоком холме чуть в стороне от большого сибирского села с ярко-красной маковкой деревянной церкви посередине. Войско обогнуло село и, не задерживаясь, двинулось дальше. Артиллеристы и взвод солдат, которым командовал молоденький толстогубый офицер, стояли и смотрели, как войско уходит. И это было неприятно не только командиру взвода, ни разу не принимавшему участия в самостоятельных операциях, а и капитану Терновому. Он ходил меж орудий, изредка перебрасывался ничего не значащими словами с заряжающим Иваном Дымовым и с наводчиком Антоном Коромысловым. Оба остро чувствовали напряжение, что было приметно в командире батареи, в его широком, скуластом, почти черном лице и в маленьких, тускло поблескивающих глазах, и, чтобы смять, сделать не таким ощутимым собственное беспокойство, охотно отвечали комбату. Им тоже было неприятно молчать, находясь в неведении относительно задачи, которая перед ними поставлена.

Изредка на батарею подымался командир взвода и

вопрошающе глядел на Тернового, стараясь вслух не говорить о том, что и так отчетливо виделось в его неряшливо юном и приятном лице, а потом уходил, ничего и не сказав. Чувствовал, капитан не захотел бы слушать, однажды пытался сказать что-то робкое, почти испуганное, и капитан сурово отчитал его, и он опасался нарваться на неудовольствие старшего по чину офицера в другой раз, но и долго находиться среди солдат, которые не были близки и понятны, тоже не желал. Вот и слонялся про меж своих и чужих, появляясь на батарее через определенное время, почти равное тому времени, которое отсутствовал, так что Терновой, в конце концов, сказал с усмешкой:

— Вы как маятник. Хоть часы сверяй по вас!..

— А как же! Как же!..— не утерпел молоденький офицер. — Войско-то ушло, а мы не двигаемся с места, и еще неизвестно, чего дожидаемся. А как потом догоним своих, если вся округа кишит партизанами?..

Терновой поморщился. Стоило немалого труда сдержаться и не обидеть молоденького офицера, к которому теперь не испытывал прежнего раздражения, а даже жалел и думал про него, что наверняка сложит голову в страшной братоубийственной войне. Именно такие, юные, принимающие все на веру, которая, однако ж, не в состоянии согреть, обратить в привычку каждодневное убийство, раньше всех гибнут, так и не поняв, зачем жили на земле?..

На батарею прискакал подполковник Алмазов, косолапо и неумело, ухватившись за луку, сполз с седла, и, переваливаясь на коротких ногах, подошел к Терновому и молоденькому офицеру, оглядел их злыми, острыми глазками, точно стараясь убедиться, те ли нынче перед ним люди, кто нужен, а убедившись, сказал сильным, как нельзя более подходящим ему, привыкшему отдавать приказания, а не исполнять их, властным голосом:

— Необходимо проучить мерзавцев... Понимаете, о ком говорю? Ну, конечно, о жителях этого села, они все партизаны. Убили нашего офицера. Приступайте!

Решительный тон, которым были произнесены эти слова, а еще вид подполковника Алмазова сильно подействовали на молоденького офицера, приободрили. Теперь он знал, что не брошен своими на произвол судьбы, а даже больше, обличен высоким доверием. И он, словно бы стремясь поскорее оправдать это довереие, волнуясь и не умея скрывать своих чувств, заспешил вниз с холма, ту-

да, где стоял взвод... Терновой проследил за ним погрустневшими глазами, потом оборотил их на Алмазова, хотел спросить что-то про жителей этого села, но так и не спросил, лишь поморщился, отдал нужные для открытия огня приказания наводчику первого орудия не спеша задействовать всю батарею, и отошел, хмурясь и стараясь не глядеть в ту сторону, куда упадут гранаты. Все же, когда раздался выстрел, поглядел туда и остался доволен недолетом, велел не менять прицел, а потом и вовсе ушел с позиции, которую занимала батарея. Алмазов поспешил следом, проявляя в открытую, отчего глаза сделались пуще злыми и острыми, неудовольствие неловкой стрельбой. Но, не понимая, отчего так происходит, и полагая, что это от неумения боевого расчета, он ругался и размахивал руками перед носом у капитана, совершенно позабыв, что тот не терпит вмешательства в его дела, тем более откровенного проявления недобрых чувств. И, когда услышал от последнего резкое и упрямое: «Бросьте, подполковник! Не вашего ума дело!..»— растерялся и не сразу пришел в себя, все же замолчал и еще долго украдкой смотрел на капитана совершенно залютевшими глазами.

Терновой спустился с холма и очутился в расположении взвода молоденького офицера, долго сидел среди незнакомых солдат. Спустя немного, несмотря на офицерскую форму, впрочем, изрядно изношенную, стал удивительно похож на солдат тем выражением усталого безразличия ко всему, что происходило, которое было в лицах и представляло едва ли не главную сущность теперешнего их душевного состояния. Он смотрел, как падали гранаты за околицей, нещадно рыхля землю и подымая тучи снежно-серой пыли, она, гонимая ветром, окутала все село, скоро уже и церкви было не видать. А потом загорелось, огонь разрастался все больше; и Терновой с неудовольствием подумал, что артиллеристы, кажется, поменяли прицел. Это они сделали против его желания, стало неприятно, но спустя немного неприятность истаяла. Уже не в первый раз что-то совершалось против его желания, а подчас, казалось, и вообще против людского разумения, подчиняясь объявшей мир и никому не подвластной огромной воле. Он не мог бы сказать, чья та воля, но предполагал, что не божеская, ей нельзя не подчиниться, могущественной, а подчинившись, нельзя чувствовать себя свободным и каждую минуту не знать, чего можно ждать от нее, какие жертвы еще потребует.

Терновой постоянно ощущал давление этой могущественной воли и, случалось, смятый, не принадлежал себе, а словно бы был расколотый, раздробленный на огромное количество маленьких «я». И в таком состоянии делался вялым и нерешительным, на лице появлялась виноватость. Это принималось людьми за маску, чрезвычайно удобную, как думали, для человека, который не хотел бы самостоятельно отправлять противные своему нравственному началу решения, а вполне удовлетворился бы тем, если бы решения всякий раз оказывались найдены другими и уж потом доведны до него, всего лишь исполнителя, начисто лишенного самолюбия и по этой причине далеко не блестяще исполняющего свою работу.

Вот и нынче Терновой был вялый и смятый и словно бы не принадлежал себе. Подполковник Аламазов, подойдя и увидев это в лице у капитана, поморщился, сказал привычно властным и жестким голосом:

— А вы как хотели бы?.. Они будут убивать нас, а мы гладить их по головке?.. Нет! Мы устроим им баню, кровавую баню. Уверен, надолго запомнят нас и уж не посмеют нападать на наших людей.

Терновой хотел возразить, а может, и возразил, но так слабо и нерешительно, что и сам не запомнил этого. Когда на окраине села, по дальнюю отсюда сторону, зарево засияло ярче и пронзительнее, Алмазов велел молоденькому офицеру поднять взвод. Взвод помешкал и пошел, матерно ругаясь, блестя на тусклом полуденном солнце штыками. Молоденький офицер заспешил следом, а скоро обогнал солдат и был впереди. Терновой видел щуплую живую фигурку, которой, казалось, тесно в том пространстве, что окружало, и она, фасонистая, все спешила вперед, вперед, увлекая людей и сама увлекаясь своей непонятной властью, что, оказывается, так приятна и так волнительна, ей бы чуть побольше простору, вот тогда показала бы себя во всем блеске. Терновой не видел глаз молоденького офицера, но наверняка в них жили и вдохновение, и страсть, и вера в то, что родился под счастливой звездной, впереди он один и никого больше, а значит, от него лишь зависит успех предпринятой операции. Он отвечает за нее, его взвод идет за ним, верит ему и радуется, глядя на то, как он решителен и смел...

Терновой проследил глазами за движением взвода и медленно побрел к батарее. Мысленно видел молоденького офицера, который шел впереди цепи, втайне надеясь, что любуются им, уверенной его походкой, и думал о нем·

со странной досадой, словно бы молоденький офицер делал что-то не так, как полагалось бы нынче, а еще он думал о нерешительности, которую заметил за собой, а раньше не замечал, хотя знал, что она в нем, в душе, и уж не оставит. Эта нерешительность не та, что бросается в глаза и губительна для человека, вдруг да и выкажет его трусом, когда он вовсе не такой. Эта нерешительность другого свойства, она никак не влияла на проявление поступков, а касалась его чувств и делала их вялыми, ничего за собой не влекущими. Впрочем, случалось и по-другому, бывала заметной, так что непросто становилось справиться с нею, но Терновой был упрям и старался поскорее позабыть об этом. Вот и нынче он намеревался поскорее позабыть о словах Алмазова и о своей нерешительности, но позабыть отчего-то не умел, помнил и тогда, когда пришел на батарею и велел прекратить огонь. Прислонился к стволу первого орудия и стал смотреть в сторону села. Скоро возле капитана начали скапливаться батарейцы, и даже Иван Дымов, во всякую пору занятый и решительно сторонящийся разговоров, если не относились к делу, и тот пришел тоже, как все остальные, смотрел в сторону села, удивляясь, отчего партизаны не открывают ответный огонь по цепи. Батарейцы с каждой минутой делались оживленнее, нетерпеливее, слышалось досадное:

— Иль все перпилися там, зараза!.. Иль молодухи не пущают, за штаны держут? Черт те чё!..

— Поди, норовят подпустить поближе, а уж опосля и встретють...

— Да куды уж поближе-то? Куды уж поближе?.. Вон и за околицу зацепились солдатики...

Батарейцы строили разные предположения, но никто не думал, что нынче нету в селе красных, что, не приняв боя, партизаны отступили в степь, и к тому времени, когда солдаты шли по узкой разбитой улочке села, настороженно вслушиваясь в обвальную тишину, с недоверием глядя на слепые окна, партизаны были уже далеко.

Батарейцы не знали про это, а предположить не умели. Когда же так и оказалось, недолго находились в недоумении и, все списав на неловкость армейской разведки, стали спешно и весело, подсмеиваясь друг над другом и размазывая по лицу липкие и грязные капли пота, зачехлять орудия и ставить в пристяжку. Пуще прежнего старался Иван Дымов, он всякий раз радовался, когда не надо было стрелять и сеять смерть. Жила-

таки в нем, может, теперь уж в малом остатке, по сей день еще не растоптанная, не смятая вера, которая требовала — не убий... Другое дело — Антон Коромыслов, ему не нравилось, когда бой заканчивался и начинали зачехлять орудия. Он думал, не будет войны и у него ничего не останется за душой, ничего из того, за что умеет упрятать страх, и в любом случае споровист и спокоен, и нередко от его стрельбы зависит исход боя.

Батарейцы впрягли лошадей и сдвинули орудия с места и, все убыстряя движение, пошли по широкому, пустынному в эти минуты тракту, словно бы норовя поживее оставить позади село, из которого вдруг начали доноситься крики и проклятья. А если случалась заминка, когда орудие оказывалось в колдобине, едва прикрытой темно-бурым, как медвежья шерсть, ноздреватым еще снегом и от солдат требовались немалые усилия, чтобы снова выкатить орудие на ровное, Терновой сердито выговаривал ездовому и все поглядывал в сторону села, лицо у него делалось хмурым, словно бы и он виноват в том, что там происходило нынче. А впрочем, отчего же не виноват?.. Иль не его орудия подожгли сараи за деревней, огонь от которых сдвинулся и уже угрожал избам?..

Терновой злился, старался думать о другом, ну, к примеру, о том, что на войне как на войне и твои чувства тут ни к чему, от них ничего не зависит, но из этого мало что получалось.

Странная нынче война, совсем не та, к которой привык и где исполнял свое дело не хуже других, во всяком случае, никто не осмелился бы сказать, что жил не так, вел себя трусливо и подло. Странности начались, стоило выйти из Омска. Вдруг батарею подымали и приказывали развернуть орудия, утверждая, что враг в этой стороне, а не в другой, но через день выяснялось, что враг нынче не там, и можно было совсем растеряться в кутерьме, и Терновой, кажется, на какое-то время растерялся, потом сказал: а, будь, что будет, в конце концов, не я отвечаю за все, что творится... Но в душе сохранялся неприятный осадок, и часто бывало утеснено в груди и совестно. Он хотел бы плюнуть и отдалиться от всего, но поступить так оказалось не просто, на нем лежала ответственность за батарю и за людей, с кем провоевал бок о бок не один год и кто сделались для него единственно надобными. Не окажись их рядом, еще неизвестно, как бы почувствовал себя.

Терновой посмотрел туда, где осталось село, тепрь уже

едва приметное в предвечерье, и не мог не увидеть, что сполохи огня над ним были еще злее и языкатее, поморщился: «Интересно, что там происходит?..» Он подумал так помимо воли, как раз желал бы ни о чем не думать, но отошел от легкого и ни к чему не обязывающего «А мне-то что?..» и спросил у себя с недоумением и с острым беспокойством, причину которого не знал, и не хотел бы знать, но которое поселилось в нем с того момента, когда приказал стрелять по селу, а точнее, чуть севернее, словно бы заранее предполагая, что там скрывается противник, и в то же время догадываясь, что никакого противника там нету, он спросил у себя о том, что происходит, и вынужден был признать, что происходит недоброе и злое, иначе Алмазов нынче окалачивался бы в другом месте, не в селе...

Терновой был прав, в селе нынче и впрямь делалась жестокость и несправедливость. Солдаты, ведомые молоденьким офицером, не встретили ни одного партизана, но это не расстроило Алмазова, он так и предполагал... По недолгому размышлению велел командиру взвода взять десять человек из жителей села и пригнать к деревянной церкви. А когда эти, десять, в летах, с неряшливо длинными бородами, угрюмоватые и, кажется, уже заранее предопределившие для себя печальный исход, впрочем, не имеющие ни малейшего желания противиться этому, предстали перед ним, подполковник не спрашивал про партизан.

Он сказал, нервно подергивая правой щекой, привычное для него что-то про партизан и про то, что через полчаса все они будут уничтожены, если не помогут ему... А потом прошел в церковь и здесь в благостной, умиротворяющей тишине среди образов, в сиянии лика Христова вдруг почувствовал себя словно бы не в своей тарелке, тоскливо и задавленно благостью и едва ли не совершеннейшим отречением от земной жизни. Прежде не испытывал такого чувства в ослепительных и огромных церквах, куда, случалось, заходил, не было отрешенности от земного, напротив, там, кажется, каждый святой молил о жизни, о торжестве вселенского духа, и это было хорошо, на всем зримом ощущалась печать всепрощения и ничтожности человеческого деяния, когда даже самое пагубное не есть зло... Но здесь другое. Алмазов остро осознал это и не скоро еще сумел справиться с досадой и увидел старичка-священника, тот стоял за образами, маленький и тоже благостный, возникло чувство, что он не яв-

ляется человеком, а есть что-то неживое, всего лишь святой лик... Тем не менее Алмазов подошел к нему и встал под благословение, но рука священника так и не совершила того, что надлежало ей совершить и, даже больше, словно бы оттолкнула подполковника. Но, может, Алмазову показалось и ничего такого не было?.. Он поднял голову и не увидел священника, разозлился, это была злость, которая разом смяла задавленность благостью, вскочил на ноги, велел молоденькому офицеру, находившемуся рядом, разыскать священника и привести к нему. А потом спросил:

— Ты что же, батюшка, вытворяешь?..

Он спросил не у маленького и сухонького старичка в потертом клобуке и в длинной, до пят, изношенной рясе, не мог смотреть в лицо ему, спросил у другого, точно бы существовал еще кто-то и был приятнее черного старичка, а не услышав ответа, обозлился пуще прежнего и, уж совсем не помня себя, выхватил из кобуры револьвер и выстрелил в сморщенное, сделавшееся ненавистным лицо, а потом выскочил из церкви и велел казнить тех, кто ждал на церковном подворье, давно потеряв надежду. Молоденький офицер, словно бы пребывая во сне и уж ничего про себя не зная, вытащил из ножен шашку...

Взвод солдат, а вместе с ним подполковник Алмазов догнали батарею Тернового, когда стало совсем темно. Но скоро выкатилась на небосклон луна и заметно посветлело, снег, припорошивший степь, засиял синё и ярко. Молоденький офицер, находясь все в том же нервном возбуждении, которое было столь далеко от нормального состояния души, что даже Алмазову стало неприятно, словно бы ничего не замечал и все говорил, говорил...

— Он, значит, смотрит... Я кричу, опусти глаза, а он словно бы не слышит, и в глазах у него ничего, пустые, страха и того нет. О, Господи, думаю, что же это такое?.. Занес шашку и ...уронил на непокрытую рыжеволосую голову. Он повалился, упал, но не на землю, на меня... большой, тяжелый... Я едва устоял на ногах. И еще долго не мог оторвать его от себя, чувствовал на спине чужие руки... пальцы, знаете ли, ну, как мыши, честное слово... все бегают по спине, бегают...

Молоденький офицер подходил и к Терновому, чтоб сказать о том же, но капитан не захотел слушать, оборвал резко...

Ночь неприятная, мертвенно бледная, почти синяя, эта точно бы неживая синева виделась не только в низком,

зависающем над головой, гладком и стерильном небе, а и на земле, одинаково с небом гладкой и стерильной. Глянешь вокруг, и глазу остановиться не на чем, всюду та же неживая синева, и не поблескивает, нет, светит тускло, незряче, нагоняет тоску, и хочется думать о другом, не о том, во что нынче упирается глаз. Но, странно, почему-то не думается, словно бы ничего больше с тобой не случалось, словно бы и ты тусклый, незрячий, и в твоей душе эта мертвая синева.

Лошади медленно, дыша запаленно, останавливались, когда дорога оказывалась и вовсе разбитой, ездовые кричали и ругались, подымали вожжи над головой... Терновой не раз намеревался осадить ездовых, когда те уж больно налегали на уставших лошадей, но было лень подойти и выразить неудовольствие. Впрочем, так ли? А не вернее ли сказать, что он точно боялся, вот замолчат ездовые и сделается совсем тихо и уныло посреди огромной, без конца и края, степи.

Неожиданно случилось удивительное, неожиданно не только для Тернового, а и для других... Сначала что-то промелькнуло перед глазами, потом исчезло, скоро опять промелькнуло... И нельзя понять, что это?.. А может, ничего и нет, и только помнилось, что есть... было... Всякое возможно в одуряющей скукотой степи. Терновой вначале так и подумал, но, спустя немного, вынужден был признать, что тут другое... Молоденький офицер тоже забеспокоился, сказал, подойдя к Терновому, что видел конников со звездами на папахах. Капитан не согласился, и не потому, что не поверил, как раз это всего реальнее, красные полки неотступно шли за белым войском, и любое промедление означало почти неминуемую встречу с ними, все же он не желал бы, чтоб так случилось: люди устали и, судя по тому, как шли, им нынче безразлично, что станется с ними. Они едва ли обратили внимание на конников, во всяком случае, не выразили и удивления, продолжали идти, тяжело передвигая ноги и не глядя по сторонам, точно бы уже и на это не находилось сил.

Терновой отчетливо увидел конников со звездами на папахах, которые странно сияли средь мертвенной синевы и казались на удивление большими, едва ль не во все видимое пространство. Это создавало ощущение безысходности, возникло чувство, что еще немного, и конники рассыплются по степи и пойдут на них, и тогда все будет кончено... Неприятное, жуткое чувство! Терновому стоило немалых усилий одолеть его и понять, что конни-

ков не так уж и много, очевидно, встретился конный разъезд или заплутавший в степи красноармейский отряд, точно так же, как и они, пробивающийся к своим. Ну, а если так, что за смысл им ввязываться в драку?.. Небось пройдут стороною? Тем не менее Терновой велел приостановить движение и выкатить навстречу красным первое орудие. И, когда это было сделано, понял, что красноармейцы заметили их, там тоже приостановили движение. Конники, сбившись в кучу, показывали на них, и, судя по тому, как энергично размахивали руками, спорили...

Молоденький офицер, к тому времени еще не пришедший в себя и потому отчаянно дерзкий, построил взвод чуть в стороне от дороги, подбежал к Терновому и, блестя глазами, сказал, что будет драться... Капитан поморщился, но тот словно б ничего не заметил, вернулся к солдатам, спустя немного, Терновой с удивлением увидел, что взвод сдвинулся с места и пошел навстречу конному отряду красных.

— Он что, с ума сошел?.. — пробормотал Терновой и крикнул, намереваясь остановить солдат, но там не услышали или сделали вид, что не слушали...

В рядах красных заметили выступление взвода и, кажется, тоже были удивлены, но это продолжалось недолго, послышался гул дрогнувшей земли, красная лава понеслась навстречу...

Терновой выругался, подбежал к орудию, но было поздно, красноармейцы смешались с солдатами, и началась рубка... Не прошло и десяти минут, как от взвода никого не осталось и, разгоряченные кровью, а еще безнаказанностью и уверенностью, что никто не в состоянии сладить с ними, красноармейцы кинулись на людей, что толпились возле единственно развернутого и готового к бою орудия. Терновой, глядя на несущуюся лаву, успел подумать, что зря он не развернул все орудия, а ограничился одним, но сейчас же и забыл об этом, делаясь мертвенно-бледным, как ночь, зависшая над ними. Весь содрогаясь от яростного колотья в груди, закричал, отдавая команду, которую, собственно, и не нужно было отдавать, артиллеристы знали свое дело и уже изготовились к стрельбе прямою наводкой. Они сделали два выстрела, после чего упали на землю и стали ждать, что будет дальше. Теперь уже мало что зависело от них, и, если стрельба на поражение получилась не совсем удачной и в рядах нападавших не произошло смятения, значит, никто не

поможет батарейцам и им надо ждать смертного часа. Они знали об этом и мысленно молились богу в надежде, что не покинет их своею милостью. И бог оказался милостив к ним. Когда Терновой поднялся с земли, увидел, как ошалело носились по степи лошади, слышались стоны людей и теперь уж далеко отсюда неслась заметно поредевшая лава, забирая все больше вправо, туда, где степь сливалась с безжизненным небом.

— Все, — сказал Терновой. — Отбились!..

И медленно пошел в ту сторону, где, порубанные, лежали солдаты взвода. Отыскал молоденького офицера: тот был рассечен едва ли не надвое, но лицо оставалось невредимым и почти красивым страшной неживой красотою, а глаза смотрели в холодное синее небо с недоумением и мольбой, точно он хотел узнать перед смертью о важном для себя, но так и не узнал, с тем и отошел в иной мир, который не казался ему добрым и ласковым.

Терновой вздохнул и устало опустился на землю.

6

Войско остановилось на ночлег в рабочем пристанционном поселке и вокруг него, подняв палатки, у кого были, а то и попросту разведя костер и отыскав уголок потеплее на черной, близ огня, оттаявшей земле. Многие солдаты сразу же после переклички пошли в обоз, где, каждодневно пребывая в нетерпении и тревоге, находились дорогие сердцу дети и жены, все, кто не захотел отсидеться на отчих подворьях и теперь делил с мужьями и отцами тяготы походной жизни, ничего не требуя и придерживаясь твердого состояния духа, когда забываешь обо всем совершенно, а помнишь лишь о том, что необходимо проявлять стойкость и те качества, про которые прежде никто не слыхивал, но что нынче сделались едва ли не естественными, словно бы люди имели чуть ли не врожденными подобные душевные качества. И это было бы удивительно, если бы не являлось чертой характера русского человека, способного перенесть все, что не пошлет судьба, с мужеством необычайным, привыкшего понимать судьбу как стоящее над ним и двигающее им, не злобное, но чаще неласковое, холодное и тогда, когда, казалось бы, посулило удачу.

Поручик Милютин, не мешкая, пошел с солдатами, спешил поспеть к возлюбленной засветло, и это было

странное желание, словно бы боялся, что с наступлением темноты в состоянии что-то поменяться в жизни, стать хуже, чем есть теперь, а ему не хотелось бы, чтоб так случилось. Уже трое суток не видел Анюты, и это была для него пытка, мучительнее которой едва ли что сыщешь. Он торопливо шел по грязной, замусоренной какими-то железяками и битым стеклом улочке поселка, заставленного низкими, серыми, изрядно осевшими в землю и покосившимися бараками с темными, узкими, незрячими окошками.

Милютин мало глядел по сторонам, уйдя в свои мысли, которые не были легкими, однако ж и безрадостными их тоже не назовешь. Мысли эти об Анюте, об единственно близком нынче человеке, без кого поручику сделалось бы и вовсе плохо, и он знал об этом и дорожил чувством, что еще двигало им, внося в его существование ясность и осмысленность. Он шел и размышлял про свое, тем не менее это и не помешало по выходе из поселка увидеть узкое и длинное, высоко поднявшееся над землей строение. Но не строение, само по себе ни о чем не говорящее ему, привлекло внимание, другое, заставившее содрогнуться и замедлить шаг. Дождался, когда подошли солдаты, и спросил, точно бы сам не разглядел того, что было отчетливо зримо:

— Что там?..

Солдаты поглядели вверх, на каланчу, куда показывал поручик враз ослабевшей дрогнувшей рукой, чуть помедлили, а потом один из них, рыжий, с землисто-серыми усами, сказал вяло, с усталым безразличием в голосе:

— Навроде б машинист... Повесили сердечного на стальной перекладинке. Слыхать, не пожелал вести адмиральский поезд, вот и повесили...

Солдаты пошли дальше, а он еще долго не смел сдвинуться с места, не смел поднять голову и опять посмотреть вверх, точно бы от этого зависело что-то важное. Но это, конечно же, не так, и он мог бы догадаться, что не так, однако ж догадаться нынче был не в состоянии и, хоть не смотрел вверх, все ж перед внутренним взором стоял облик несчастного в больших, явно не по ноге, стоптанных, странно красных башмаках. Но, может, башмаки не красные, а какие-то еще, и только показалось, что красные?.. Нестерпимо хотелось убедиться, что не прав, но надо было поднять голову, а это представлялось выше теперешних его сил. Через какое-то время, чувствуя в теле разбитость и слабость, сдвинулся с места и по-

шел дальше, медленно и неуверенно, точно спьяну, переставляя ноги и не зная про то: казалось, идет быстро, так быстро, как еще ни разу не ходил.

Шел и говорил: «Господи, не ведают, что творят!..» Впрочем, догадывался, что это не так, и те, кто мучает, знают, что творят. Разве ж подполковник Алмазов пребывает в неведенье относительно всего, что совершается?.. Милютин удивился, что вспомнил Алмазова, не желал бы теперь думать о нем, а вот взял и вспомнил... Странно! Но странно только для него, а если бы рядом нынче находился человек, чуткий к душевному состоянию другого, он не увидел бы тут необычного. Уж лучше Алмазова, неприятного во всех отношениях, которому многие офицеры и руки не подадут, считать виноватым в дурном, что происходит вокруг, чем всех сразу. Ведь многие из них симпатичны Милютину, и он ни за что не станет думать, что и они сроднились с недобрым и злым, не станет так думать отчасти по той причине, что думать о людях худо ему мучительно и горько, есть пытка, которая отымает немало душевных сил.

«Господи, не ведают, что творят!..» — негромко говорил Милютин и шел, шел, уже запамятовав, куда и зачем?.. И это тоже странно. О возлюбленной, единственно ему дорогой, которая, конечно же, и теперь ждет с нетерпением и тревогой, проглядев все глаза, не забывал, кажется, ни на минуту и посреди жесткого боя вдруг улыбнется, мысленно увидев ее, и на сердце станет не так томительно и сурово. А вот нынче и про нее забыл, можно подумать, что прежде не встречался с жестокою несправедливостью. Но теперь, находясь в смятенном состоянии духа, с пронзительной ясностью видел, что тут что-то не связывается. И раньше встречал подлость и злость людскую, и мучался, страдал отчаянно, а подчас не знал, как жить, да и стоит ли жить?.. Но тогда умел представить далекое, еще неяркое, едва ли не призрачное, вместе с тем теплое и светлое. Верилось, придет час, и далекое сделается близким, осенит, и будет на сердце легко и целомудренно. А вот нынче не видел ничего и было страшно, потому что не видел...

Милютин пришел на окраину поселка, где в великом множестве стояли телеги и сани, крытые брезентом и дерюгой, и толпились люди. Горели костры, большие и маленькие, языкатые и тусклые, несть им числа, казалось, протянулись, все дальше убегая в глухую неведомую степь, на десятки верст. Дивно глядеть на них и чудно,

словно бы это не костры, а другое, гибкое и живучее, попробуй-ка совладай с такою громадой, когда едва ль не из земли проросла, упрямая.

Милютин недолго стоял на месте. Маленькая светлоликая женщина с маленькой головкой, вся в белом одеянии, которое, когда проходила близ костров, словно бы светилось, подошла и, приподнявшись на носки, поцеловала поручика в губы и прошептала горячечно:

— Васенька, миленький мой...

Он посмотрел на нее испуганными и непривычно отчужденными, но с каждой секундой всё больше смягчающими свое выражение глазами и прошептал тоже горячечно и волнуясь:

— Анюта, родная.

Он произнес эти слова и заплакал. Слезы бежали по щекам, а в груди сделалось и вовсе утесненно, и уж нельзя было ничего сказать, как нельзя справиться с собою, уткнул голову в теплое слабое плечо маленькой женщины и плакал... Люди смотрели на них, кто с удивлением, кто со смущением, и не нашлось никого, кто обидел бы недобрым словом, точно бы каждый про себя знал, что и с ним может случиться подобное, а может, уже случалось, и он помнит, и потому понимает другого, кто нынче находится в прежнем его душевном состоянии.

— Не надо, не надо... — говорила Анюта, и сама плача. — Миленький мой, родной...

А потом взяла его за руку, и они пошли от людей. Скоро возле них стало тихо, только затверделый снег под ногами похрустывал, а в небе сияла холодная луна, отдаленная от земли и точно бы безучастная ко всему, что происходит там нынче. Вроде бы сияет еще по привычке, но не столь ярко и ясно и как бы через силу, словно бы наскучило глядеть на землю, и если еще глядит, то лишь потому, что ничего другого не остается.

— Лютость на всем, к чему прикасается человек, лютость, — успокоившись, сказал Милютин. — Не понимаю, что с людьми?.. Как с ума посходили и уж не принадлежат себе. И это страшно, ни для кого нету ничего святого. Что же будет-то? Что же будет со всеми нами?..

— А ты не думай об этом, миленький. Зачем?.. Разве плохо, что мы вместе? Что нам еще нужно? Я так про себя думаю, что нам ничего больше не нужно.

Милютин посмотрел на Анюту, и чувства, которые были оттеснены и смяты тем, что пришлось увидеть, снова сделались сильны и не подвластны ничему, и он жадно,

с испуганной поспешностью, как будто кто-то в состоянии помешать, обнял ее:

— Да, да, конечно, и мне ничего не нужно. И мне...— помедлив, добавил: — Лишь бы забыть... забыть... забыть...

Но знал, что это невозможно, потому как не зависит от него совершенно, а подчиняется обстоятельствам, поменять которые он не в силах.

— А я все с Дарьей, с ее ребятишками, — сказала Анюта. — И мне не скучно. Она такая добрая, славная, бывает, устану, и тогда Дарья велит мне садиться в кошеву, к ребятишкам, а сама идет рядом и все рассказывает, рассказывает... Частенько приходит Дарьин муж, ну, ты знаешь его, Иван Дымов, и она ласкова с ним, и не жалуется, хотя ей тоже трудно и страшно...

Милютин слушал, не отпуская Анюту, а сам вспоминал день, когда впервые увидел ее, слабую и потерянную и никому, кажется, не нужную в целом свете. Стояла она на берегу малой сибирской речушки, он теперь и названия речушки не помнит, и глаза у нее были туслые, словно бы незрячие. Увидела его, испугалась, хотела убежать и наверянка убежала бы, но, сама признавалась, ноги вдруг сделались слабыми, шагу не ступишь. Так и стояла и смотрела, однако уже другими глазами, была в них острая неприязнь, и ему стало совестно и стыдно чего-то... Подошел поближе и опустился на землю, сидел долго, ни об чем не думая и сознавая себя песчинкой посреди чужого пространства. Через какое-то время, не видя ее, слабую и потерянную, но кожей ощутив, что она рядом, не ушла, мучительно захотел сказать о своем чувстве и сказал, она не поверила...

— Вы сильные и злые, — сказала все с тою же неприязнью в глазах.— Вы убили его.

Он не понял, понял позже, и жалость к маленькой женщине переполнила, да, сначала только жалость, уж потом пришлое другое чувство, нежное и сладкое. Осознал, что не сможет жить без нее, все, не касающееся ее, увиделось призрачным и неверным. Было такое ощущение, что завтра уже никого не останется рядом с ним, он сделается один, во всем свете один... Но это чувство могло и не обеспокоить, когда бы часть, в которой служил, не задержалась в той деревне надолго. Но она задержалась, и это было для него счастье, а еще и мука: маленькая женщина в своем отношении к нему не совершала и малейшей попытки что-либо поменять, хотя он страстно

желал этого и многое делал, чтобы так произошло. А когда действительно так произошло, долго не мог поверить, и все в их отношениях чудилось хрупким и слабым, казалось, достаточно легкого дуновения ветерка, чтобы ничего не осталось. И он мучительно боялся и страдал, если вдруг ощущал неладное, способное помешать их любви.

Анюта была близка поручику не только по душевному настрою, а еще и потому, что в ее жизни он увидел многое, что оказалось знакомо и понятно. Она жила с отцом, сельским учителем, пока не пришли в деревню казаки атамана Красильникова. Те пришли, чтоб искоренить крамолу, и сельский учитель не понравился им, скорее, тем, что не умел угодить с первого разу и уважал людей и не считал никого вправе распоряжаться чужой жизнью. Они зарубили его шашками, полагая, что он есть враг, а потом долго не разрешали предать земле искромсанное, большое и страшное тело. Но ведь и Милютин был сыном сельского учителя, и тот со своим разумением о жизни, которое не оставляло места насилию, принимал в людях только стремление делать добро, и не важно кому, лишь бы нуждались в добре и человеческом участии. И он пришелся не по душе власть предержащим, а власть тогда находилась в руках у людей, прозывавшихся большевиками, и они посчитали себя вправе судить старого учителя и приговорили его к смерти... Может, поэтому, скорее же, главным образом поэтому, Милютин, тогда подпоручик русской армии, принял, очутившись на взбулгаченной революцией отчей земле, ближнюю от него сторону во вспыхнувшей гражданской войне, а не ту, другую, хотя сам не сказал бы так, это было бы слишком просто и понятно, а он не хотел бы думать, что с ним все просто и понятно, полагая, что именно с ним сложнее и серьезнее. И, если искать что-то в нем, надо искать в его устремлениях и в желаниях противостоять насилию, с какими бы целями не совершалось.

— Анюта, родная, — тихо сказал Милютин. — Мне с каждым днем труднее смотреть на то, что творится, и делать вид, что ничего не замечаю. Долго ли так будет продолжаться? Я устал...

— Не нужно... Не хочу. Ничего не хочу и ничего не знаю. Мне бы видеть тебя, а все прочее — пускай все идет, как тому полагается. Пускай...

Когда же началось это ее отношение к жизни, как к чему-то чужому, неласковому, от чего лучше держаться

подальше? Да, наверное, после смерти отца. А может, чуть позже. После смерти отца была еще и ненависть, ненависть к тем людям, которые погубили близкого человека. Но недолго она жгла Анюту. Исчезла неожиданно, во всяком случае, сама так думала, хотя на поверку вышло несколько иначе, просто Анюте это чувство было чуждо с самого начала. Холодное и жесткое, состояло в постоянной борьбе с другими чувствами и не сделаться ему отчужденну оказалось вскорости невозможно. В противном случае Анюта стала бы другой человек, и этот человек жил бы одной местью. И потому, что бы там ни происходило в душе, она однажды не могла не увидеть, что снег на земле не такой уж и черный, а в синих сияющих проблесках утра солнце не такое уж и красное, только розовеющее, и лучи от него струятся и взблескивают на невидимых перекатах, точно рыбки на быстрине. Она увидела, и сделалось грустно и одиноко, но уже не так больно, посмотрела вокруг и лишь теперь впервые по-настоящему разглядела Милютина, который уже не первый день ходил за нею как тень. Эта тень не была злой и упрямой, а слабой, подумала, что при малейшем дуновении ветерка может рассеяться, исчезнуть, а ей уже не хотелось, чтобы случилось так. Вдруг почувствовала в облике молодого человека потерянное и жалкое, он еще храбрится, точно знает про себя сильное и дерзкое, но она-то видит, что нету ничего этого, а есть потерянное и жалкое. Анюта улыбнулась ему и заговорила, сейчас уж не помнит, о чем, в глазах у него засветилось, засияло, было приятно смотреть на Милютина, доброго и нежного, совсем не такого, каким представляла попервости. Он казался слаб, как и она, это поначалу пугало, потом же подумала: пускай так, две пушинки, одна подле одной, полетят, полетят, и не станет им скучно посреди большого, лишенного жизни пространства. И она пошла с возлюбленным, было все равно, куда идти, у нее ничего не осталось в жизни... Жены, матери и дети рабочих Ижевска и Воткинска повсюду следовали за мужьями, отцами братьями, а скоро и она очутилась среди них и была принята с лаской и сделалась своею. Все боли людские и малые радости принимались ею с той мерой, которая отпущена людям, привыкшим понимать себя как малую часть сущего.

— А что, милая, ты, наверное, продрогла? Пойдем к кострам?..

Анюта согласилась, и они пошли в ту сторону, где яр-

ко и длинно, на десятки верст, горели костры, отодвигая от себя темную зернистую стынь.

Подле одного из костров, как раз того, куда и предполагали прийти, было особенно тихо и грустно, точно с людьми, что сидели, подложив под себя скатанные из грубой шерсти потники, случилось неладное. Но Милютин знал, что ничего не случилось, все же, глядя на них, забеспокоился и лишь теперь, помимо Дымова и его супруги, полнотелой рыжеволосой женщины с высокой сильной грудью, которою нынче она кормила мальцов-двойняшек, а также солдаток, разглядел у костра еще и старичка, напоминающего одеждой монаха, худого и темноликого, говорящего сиплым, однако ж приятным для слуха, мягким голосом:

— Все русски... все крещены... и бог знает, чё воюют?..

У костра подвинулись и дали место, Анюта с Милютиным сели на изжелта-серые потники. Потянулись захолодавшими руками к огню.

— А я не сразу догнал вашу войску, — медленно сказал старичок. — Уж больно споро бежите.

— А отчего ты выбрал нашу войску? — спросил Дымов. — Небось мог бы пойти в другую сторону.

— Мог бы... — негромко сказал старичок. — Да токо чую, надобность скоро появится во мне про меж ваших людей, впереди-то у всех вас мука страшная, горе... Пошто бы я стал бросать людей в напасти?

— Ты как будто наперед все знаешь, — с легким смущением сказал Милютин.

— А пошто, и знаю, — грустно улыбнулся старичок, потом поправился: — Чудится, что знаю. Много чего чудится. Оттого другой раз не скажу: то ли впрямь было, то ли в голове у меня... вдруг промелькнет неутайное, сшевельнет с места и понесет по белу свету. И нет мне удержу!

Смутное, неспокойное... Это почувствовали все, кто сидел у костра. Дымов досадливо крякнул, придвинулся к Дарье, осторожно взял у нее задремавшего мальца, отнес в сани, укрыл старым байковым одеялом, то же проделал и со вторым мальцом, вернулся к костру, с тревогой оглядел примолкших людей и опустился на землю подле жены, обняв ее, смутившуюся, однако ж не сделавшую попытки отодвинуться, запел негромко:

Горе горькое по свету шлялося
И на нас невзначай набрело...

Голос у него мягкий и теплый, и не больно-то верилось в ту беду, которая случилась с людьми далеко отсюда, может, за тысячу верст. Верилось, что все у них уладится, все будет хорошо.

Суд приехал. Допросы. Тошнехонько.
Сдогадались деньжонок собрать.
Оглядел его лекарь скорешенько
И велел где-нибудь закопать...

Песня подымалась все выше, выше, на сердце было грустно и сладко. Милютин, внимая нехитрым словам и все больше наполняясь нежностью, которой, случалось, раньше стыдился, но которая нынче упрямо и гордо властвовала в душе, шептал беззвучно: «Милые, родные, как же мне хорошо с вами! Я никогда не оставлю вас. Я дойду с вами до последней своей версты». Он шептал и верил, что так и сделает, это была сладкая и одновременно горькая, томительная, но совсем не угнетающая, сулящая надежду вера.

7

Софью Никаноровну взяли в поезд, в котором ехали близкие к ставке офицеры и разные начальствующие лица, главным образом, члены сибирского правительства, их жены, а также жены и дети генералов, что шли вместе с действующей армией. Поначалу она была довольна своим положением, понимая, что в нынешних обстоятельствах все могло сложиться хуже, муж не значился среди людей, облеченных властью, не пользовался и особенною этой власти расположенностью к своей особе, ничего такого и в помине не было. Софья Никаноровна, тщетно прождав мужа день-другой, решила сама позаботиться о себе и сделала это со всею энергией и изворотливостью, на какую только оказалась способна. Да, поначалу она была довольна своим положением и, сидя в купе старенького, гремящего железяками вагона и глядя в тусклое, грязновато-серое окошко и замечая тоску и отчаяние в лицах людей, бредущих вдоль железнодорожного полотна, испытывала гордость от того, что сумела вовремя разобраться в обстановке и выгодно сбыть толстосумам все, что отыскала в особнячке, впрочем, как и сам особнячок, который являлся собственностью дальнего родственника, нынче проживающего во Франции. Она ни разу не виде-

ла его, что не помешало поступить так, как задумала. И, получив за все золотом, а не керенками или другими денежными знаками, про которые в Европе сроду не слыхивали и которые всего лишь бумажки, чувствовала себя совсем недурно. Она и прежде мало думала о людях, окружавших ее и с кем встречалась и говорила, чаще о том, что не представляло для нее интереса, а теперь и вовсе позабыла о них и едва ли могла вспомнить что-то теплое, будоражащее душу. Это не удивляло. И раньше ощущала себя увереннее и спокойнее, когда оставалась одна, а теперь и подавно... Софья Никаноровна смотрела в окно на отчаявшихся людей и испытывала к ним одно лишь любопытство, которое, впрочем, тоже не было сильным и ярким, едва тлело, и думала, какая она умница, что так сумела распорядиться всем, что у нее имелось. Нынче она при капитале, и в Европе, куда давно уже стремилась выбраться из этой разворошенной войною дыры, где вынуждена была провести столько лет, она, конечно же, не потеряется и займет соответствующее ее возможностям положение. Так думала до тех пор, пока поезд неожиданно не остановился и не началась на путях стрельба и та кутерьма в вагоне, когда люди теряют голову и кричат бог весть что, налетая друг на друга и сбивая с ног и, кажется, не замечая этого. Тогда и она растерялась, но не побежала со всеми, а точно бы замерла, сидя на нижней полке и обхватив чемодан руками, вдруг подумала, что до Европы, куда стремилась, еще далеко и бог весть что может случиться в пути, это ужаснуло, долго не могла прийти в себя. Когда же очнулась, начала лихорадочно думать, что делать?.. Тревожные мысли стали еще сильнее мучать, когда остановки в пути сделались чаще, потом заговорили о том, что чехи собираются отобрать у них вагон, словно бы им мало двадцати тысяч вагонов, что уже имели. Когда же так и случилось, и чехи велели всем выйти, и когда раненный в руку полковник, не выдержав унижения, причиною которому были чехи, выстрелил себе в висок, Софья Никаноровна оказалась близка к умопомешательству. Во всяком случае, много спустя, так и думала, она перебегала от одного чешского офицера к другому, умоляла, просила, а кому-то даже предложила денег и, кажется, себя, но чех остался холоден. Она возмутилась и кричала, что они подлая и грязная нация и их всех надо уничтожить и скоро наверняка так и случится, вот придут красненькие и поставят их к стенке...

К счастью для нее, чехи не поняли, о чем она кричала, и скоро Софья Никаноровна, присоединившись к беженцам, поплелась за ними. Ночевала в деревнях, прямо на полу, среди множества людей, случалось, не получала места в избе и тогда проводила ночь под открытым небо, а однажды, продрогнув, напросилась идти с узкогрудым пехотным офицером, который, погано ухмыляясь, обещался обогреть несчастную... Вконец отчаявшись и уже не веря ни во что хорошее для себя, Софья Никаноровна неожиданно встретила знакомого. То был корнет Бельский. От него узнала, что муж давно отъехал и теперь, надо думать, уже в Верхнеудинске, а может, и дальше, и что он сам идет с войском, им приходится часто отражать атаки противника, но все же это лучше, чем пропасть с голоду. И, если она желает, он может похлопотать за нее...

— Надеюсь, для вас отыщется место среди семей стрелков, которые едут на подводах.

— Похлопочи, миленький. Похлопочи... — прошептала Софья Никаноровна, плача и хватая за руки Бельского, норовя поцеловать их. Это было так страшно и так не вязалось со всем, что корнет знал про нее, что он растерялся и сказал, морща маленькое, круглое, противно сытое лицо:

— Ах, зачем вы?.. Опомнитесь!..

Софья Никаноровна и сама знала, что ведет себя недостойно, но и поделать с собой ничего не могла и все просила об одном и успокоилась лишь тогда, когда села в кошеву и они поехали...

А в обозе было не так уж и плохо, и Софья Никаноровна скоро пообвыклась. К тому же и скучать не пришлось, когда почувствовала, что Бельский не равнодушен к ней. Нет, дело тут не в большом чувстве, она понимала это и ничего для себя не требовала, просто его влекло к ней, а если так, то и она не прочь провести с ним время, чтоб позабыть о том, что происходит вокруг. И она с энергией, что так отличала ее, принялась обхаживать Бельского, который зачастил в обоз, и уже готова была достичь своей цели, как вдруг случилось что-то и корнет не пришел в назначенное время. Не пришел и через день. Софья Никаноровна забеспокоилась: не хотела бы остаться одна среди людей, чуждых ей, хотя не питала к ним ничего дурного, никаких чувств, кроме равнодушия и нежелания, пускай и на время, сблизиться с ними. Бельский пришел через три дня. Она обрадовалась и стала

спрашивать, что случилось и отчего он не появился в назначенное время? Он долго молчал, а потом с испугом заговорил о капитане Терновом, который интересовался ею и спрашивал, где она нынче?.. Софья Никаноровна сначала обиделась: подумаешь, кто-то интересовался, да мало ли у нее знакомых?.. — но, спустя немного, задумалась, все же не сразу вспомнила Тернового. А когда вспомнила, сделалась довольна собой и уж мало обращала внимания на Бельского. Чувствовала, вряд ли он станет ей надобен в будущем: уж больно пуст и в голове ничего, как смутно догадывалась, приглядываясь к нему, кроме жадного стремления продвинуться по службе. Она велела сказать Терновому, что ждет... Она и впрямь теперь ждала и с тем большею страстью, чем дольше он не шел. За время ожидания у нее появилось едва ли не искреннее чувство к этому, в сущности, малознакомому человеку, с которым однажды столкнула судьба... А когда он пришел, обрадовалась и стала говорить, сколь много натерпелась и как страшно ей нынче.

— Вы давно знакомы с Бельским? — спросил Терновой, не слушая, а думая о чем-то, кажется, не совсем приятном. Во всяком случае, Софья Никаноровна так и решила, а решив, поняла и причину, сказала с легкой усмешкой, чуть покривившей губы:

— Ах, что вы?.. Всего-то и знакомства, что пристроил в обоз. А впрочем... впрочем...

И она сказала о том, что почти не занимало ее и было бы справедливо, если бы относилось к другому человеку, не к ней, так мало проявлявшей страсти к кому бы то ни было. Она сказала о том, что это ее знакомство и ему нет до сего никакого дела, он еще не муж ей...

— А может, я не права?.. — спросила и с нежностью посмотрела на него. То была искренняя нежность, которая, случалось, посещала и красила ее. В такие минуты Софья Никаноровна словно бы преображалась, делалась мягкой, как бы светящейся изнутри тихим и ласковым светом, и так это свечение завлекало всех, кто окружал, что не хотелось отходить от нее, втайне надеясь, что и на тебя упадет свечение души ее.

— Да нет, нет... Что вы! — сказал Терновой, и в его облике словно бы что-то сдвинулось, в крупном, скуластом, с ярко выраженной азиатчиной лице уже не было прежней суровости, которая словно бы пропечаталась в нем изначально, не будучи благоприобретенной, а в холодных, со странным рыжеватым блеском глазах не мог-

ло же почудиться Софье Никаноровне, слава богу, еще в своем уме, мелькнуло похожее на участие.

— О, Господи, я так устала.., так устала... — со вздохом сказала Софья Никаноровна. — А мы все едем... едем... И нету ни конца ни края нашей поездке. Когда это кончится, Господи!

Она хотела бы вызвать в нем жалость, и это удалось. Он уже не спрашивал ни о чем, смотрел на нее с участием и слушал, изредка кивал головою, соглашаясь, а порой возмущаясь вместе с нею и удивляясь тому, чему удивлялась она.

Впрочем, это происходило как бы помимо его воли, еще не остыл от слов Бельского, от него впервые услышал, что в обозе появилась славная бабенка и он предполагает весело проводить время, когда не будет занят войной. Почему-то Терновой сразу решил, что речь идет о Софье Никаноровне. Все же долго медлил, прежде чем спросить, о ком же именно идет речь, потом спросил и убедился в своей правоте, что была холодна, и не грела. Бельский еще о чем-то пытался сказать, но Терновой резко перебил и в присутствии офицеров произнес слова, от которых и теперь делалось неловко, стоило вспомнить о них.

— Я пристрелю вас, как собаку! Я пристрелю вас, если услышу дурное про эту женщину! — сказал он.

Он понимал, что не имел права говорить так; кто она ему и кто он ей?.. — случайный знакомый, которых, судя по всему, у этой женщины предостаточно, — и нынче совестился и укорял себя за несдержанность, а вместе с тем и внимательно слушал, удивляясь, что переживает вместе с нею, словно бы позабыв про остальное и даже про то, что слышал от людей, по всей видимости, близких ее кругу, куда не имел доступа, да и не пошел бы, если бы кто-то и предложил. Он со странной стыдливостью, которой не ожидал от себя, смотрел на нее, угадывая в этой женщине большого сильного зверя. Нестерпимо тянуло приручить зверя, сделать послушным своей воле. Но это лишь одна часть его теперешних чувств, другая же, меньшая, вся была составлена из жалости, непривычной для него, мучительно хотелось увидеть, как слаба эта женщина, и говорить ласковые слова, ободрять, обещать защиту. Странно, в душе все соединилось: от холодного неприятия, понимал же, что представляет из себя эта женщина, до болезненной нежности, совершенно чуждой ему, бог весть откуда свалившейся на его голову. От этого почти про-

тивоестественного соединения чувствовал себя не в своей тарелке. Было совестно, что он, старый боевой офицер, много повидавший в жизни и понявший в ней, нынче сделался бог весть что, скорее, как мальчишка, обмануть которого ничего не стоит. А у него-таки мелькала мысль, что его пытаются обмануть, сказать совсем не про то, что на сердце... Мелькание становилось более и более частым, и, в конце концов, он не выдержал и оборвал Софью Никаноровну на полуслове, не произнеся при этом ничего, что смягчило бы резкость тона, сказал, что нынче занят, но через час-другой освободится, и пошел от костра...

Он не был ничем занят, но ему трудно сделалось подле Софьи Никаноровны, и он пошел от нее, чтобы все хорошенько осмыслить. Он неторопливо брел по степи вялой походкой, характерной для него, которую близко знавшие люди принимали за продолжение характера, имеющего главной чертой замкнутость и нежелание вмешиваться во все, что не касалось его лично, этакое отъединение от всех, а может, даже отчужденность оттого, что, в сущности, он противно своему естеству не бывает один, а постоянно на людях, когда и подумать-то о себе некогда. Это неприятно, мешает сделать в себе самом открытие, узнать такое, чего еще не знал, пускай это будет совсем небольшое открытие, а все ж лучше, чем ничего... Иногда ему казалось, что он близок к открытию, вот, кажется, в душе засветилось, затрепетало, надо лишь приложить последнее усилие — и тогда отчетливо увидится постоянно от него ускользающее. Но сладостное мгновение исчезало, и открытие отодвигалось до другого раза.

Терновой медленно брел по степи, раздумывая о неясном и призрачном, намеренно уводя мысли подальше от того, что связано с Софьей Никаноровной. Это вскорости удалось, и было приятно. В неясном и призрачном что-то засияло, позвало к себе, и нельзя было не подчиниться, и Терновой подчинился и нашел в подчинении отрадное, заставившее позабыть обо всем. Но он недолго находился в приятном душевном состоянии, вдруг услышал бормотание и остановился, разглядел в сизом и упрямом, словно бы изнедоволенном напастями, что нынче пали на российскую землю, в наморщенном сумерке чуть согбенного, в драном армячке человека.

— Чё деется-то, Господи! Чё деется!.. Шел нынче по дороге, в обратну сторону, где уж и войску-то никакого нету, а людей тьма... Все бегут, бегут... Куды, Господи?.. Говорю имя, вертайтесь к родным очагам, пропадете!.. И

слухать не желают, вовсе стронулись с торки и теперя уж не ступят на ее, бедолажные. Мальца углядел, исхудалый, желтый, годков семи, бредит, кричит, ручонками машет, а ручонки тонкие-тонкие, насквозь их все зримо. Подошел к нему, послухал... Никак тиф? Пропадет мальчонка. И все, кто подле его, тож пропадут. О, Господи, за чё така напасть?.. Больно знать это и не уметь подсобить. Больно! В тюрьме и то лучше...

— А ты, значит, из тюрьмы вышел? — помедлив, спросил Терновой.

— Пошто вышел?.. — недоумевая, спросил мужичок. — Иль я не в тюрьме нынче? Иль в душе у меня слободно, куды схотел, туды и пошел? Да не, мил-человек, я в плену, и нету тому плену краю. Маюсь бедою всесветною, обступила со всех сторон, как железные прутья на тюремном кошке, и не пущат... Но я не жалуюсь, всяк на земле несет свой крест.

От мужичонки узнал, что в прежнее время он видывал Антона Коромыслова, и это, подумал, хорошо, тот справно нес службу и за спины товарищей не прятался, был толковый солдат.

— Хочешь, я сведу тебя к нему? — сказал Терновой. Тот не ответил. Капитан принял это за согласие и торопливо пошел по степи, мужичонка едва поспевал за ним. Но скоро Терновой словно бы опомнился и утишил шаги, не понимая зачем и злясь, но уже не умея совладать с собою, с тем, что снова надвинулось, неутишное, заговорил о женщине, которую встретил и которая ждет, а он не знает, надо ли идти, нет ли, не разберется, все-то перемешалось, и не вчера это случилось и не сегодня, а много раньше и уж, казалось бы, можно понять в себе, а он не поймет, и мечется, мечется...

— А пошто бы и не пойти?.. — легко, и малости не помешкав, сказал мужичонка. — Иль нынче не все мы сдвинутые с круга и уж не возьмем в ум, кто мы и зачем мы и где остановимся?.. Иль жалко отдавать тепло своего сердца кому-то ишо?.. А чё, ежели она нуждатся в твоем тепле, как в слове Господа нашего?..

Он замолчал, и в лице промелькнуло что-то, тень какая-то, не сразу и разглядишь в сумерке, что это?.. А может, неудовольствие?.. Терновому сделалось неловко, но даже и тогда почувствовал, как спокойнее стало на сердце и все, что мучало, словно бы отодвинулось... Такое ощущение, что скоро исчезнет совершенно. Впрочем, он и теперь не был уверен, так ли?.. Но, спустя немного, неуве-

ренность ослабла и уж не наберет прежней силы.

С этой, сделавшейся маленькой и слабой, неуверенностью, которая жила в нем, но не мешала другим чувствам, а пуще того удивлению, вызванному не столько словами мужичка, сколько готовностью, что ощущалась во всем его теле, прийти на помощь другому, коль скоро тот нуждается в этом, Терновой подошел к костру, где сидели Антон Коромыслов с худотелой, словно бы насквозь просвечивающей, почти прозрачной, с сухой пергаментной кожей на щеках старухой и ясноликой девушкой, почти девочкой, которой точно бы все время холодно, она непрестанно тянула тонкие, в рыжеватых цыпках, руки к синему, не стойкому на взявшемся ветре огню. Антон был задумчив, на узком, гладком лбу обозначились чуждые ему морщины.

Коромыслов попытался при виде Тернового вскочить на ноги, но тот помешал, сказал с усмешкой:

— Сиди, сиди... Мы не в строю... — и опустился на землю рядом с наводчиком, спустя немного, повернулся к девушке, намереваясь спросить, откуда она, и не успел...

— Третьеводни пристали старуха с внучкою, — сказал Антон торопливо, однако ж без спешки, что мешает мысли, слова пристраивались друг к другу легко и ясно, и рождалось ощущение, что их можно проверить на ощупь, так были близки каждому. — На восток пробираются, за Байкал... Сказывают, сынок их там, батяня... Люто нынче на Урале, голодно. — Помедлил, поглядел на Тернового, а потом на старуху с внучкой. Во взгляде было столько смущения и жалости, что капитану сделалось не по себе. Но это не та неловкость, которая заставляет суетиться, отводить глаза, это была другая неловкость, не стесняющая остальных чувств, а словно бы наполняющая их особенным смыслом. И удивление, что и прежде жило в Терновом, стало еще больше. — Ну, пошли бедолажные, а припасов-то никаких... Просили у людей за ради Христа, порой и подавали, но чаще гнали со двора...

— Все мы нынче идем, идем... — сказал мужичонка. — И нету на дороженьке радости, болью да мукою полита обильно. И мнится, долго еще так будет, так долго, что люди замаются ждать, ить счастье, про чё нынче сказывают, вроде чудо-птицы, можно приблизиться к ей, однако ж не ухватишь за хвост. И чем ближе будут приближаться к ей люди, тем неспокойнее будет у их на сердце и с тем пущей лютостью зачнут глядеть друг на друга, всяк про себя думая, что токо он и достоин счастия, а все

другие лишь мешают. И тогда отворятся врата земные и выпустят Матерь Божью, и она, обливаясь слезами, вознесется на небо, и уж более никто не увидит ее. И темнота падет на землю, страшная, на веки вечные темноты. Где край ее?..

Коромыслов давно приглядывался к мужичку, а когда тот замолчал, легко вскочил на ноги, маленький, с белесыми, почти рыжими глазами, подбежал к нему, присел рядышком, подсобляя себе руками, сказал быстрой, жесткой, не терпящей возражения скороговоркой:

— Ты ли это, провидец... мать вашу? — и, приметив в глазах у мужичка, что и тот признал его, продолжал все так же напористо, однако уже не глядя на него, а может, и вообще ни на кого не глядя, точно трудно было сосредоточить внимание на ком-то отдельно, а лучше на всех сразу: — С-под Молоково провидец-то... Там и проживал, значит, и души людские смущал словами разными, оттого и прогнали... Иди, сказали, болезный, тошно от твоих речев, все про напасть толкуешь, а людям жить надобно, да чтоб в спокое да радости. И пошел, и нигде подолгу не задерживался, потому как везде людям в тягость. Иль не так, провидец... мать вашу? — и, не услышав возражения, продолжал далее, лохматя маленькой рукой рыжие волосы: — То-то, что так! На деревне всяки слухи бродят, которому из их верить — скажешь разве?.. Ждем. И он вроде б ничего, провидец, многим по нраву пришелся, тихий, никого не обидит, живет по дворам, нынче — в однем, завтрева — в другим... Токо вдруг примечать зачали: люди чегой-то скучнеют, скучнеют, уж и ворогу давнему слова злого не скажут, все норовят обойти сторонкой, а то вдруг повинятся пред обчеством, про чё никто допрежь и не слыхивал. И поняли мы, все, кто слову провидца не поддался: от его напасть, окаянного, людям маета душевная, ну, и решили, значит, поучить маненько. Прогнали со двора. Из деревни, значитцо. Иль не помнишь, провидец?..

Мужичок во все время рассказа Коромыслова сидел спокойно и прямо и не смотрел на него, точно бы речь шла не о нем — о ком-то еще, про кого слыхом не слыхивал. А когда тот закончил, сказал тихо и с грустью, словно ему было жалко людей, в свое время обидевших его:

— Пошто ж не помнить? Все помню, даже прозванья твоего не забыл. Антон, кажись? Ты бил меня и кричал: а вот тебе ишо от Антона, а вот тебе ишо!.. И чё ты злой, скажи на милость? Иль кто обидел и заруба оттого на сердце и мает?..

— Да ты и обидел,— злясь, сказал Коромыслов, помешкав, сплюнул на землю, поднялся, ушел...

Появился Дымов, постоял, нависнув над костром большой дрожащей тенью. Терновой подумал, что он пришел к нему, поднялся с земли и взял солдата за руку, и они отдалились от костра.

— А она все плачет, плачет, — вздохнул Иван. — Вы токо ушли, она в слезы...

Терновой смутился, но, не желая показать смущения и не умея добиться этого, сказал дрогнувшим голосом:

— Хорошо, я иду...

8

Линии обороны, про которую столь много говорили в войске и которую не однажды упоминал в своих телеграммах адмирал, и в помине не было. Кое-где, правда, стояли польские отряды, чаще это были гусары, по всему видно, не способные вести никакой службы, а лишь в состоянии щеголять военной выправкой и звенеть шпорами. Генерал попытался отыскать старшего офице́ра среди поляков, а когда это, наконец-то, удалось, пропала охота говорить о чем бы то ни было с пышноусым, во хмелю полковником, и стоило немало труда сдержаться и не вытащить пистолет из кобуры.

Генерал не любил «союзничков», в которых видел людей, не способных ни на что дельное, а только на подлость и предательство. Он понимал, что и русские офицеры настроены точно так же, как и он, и не очень-то удивился, когда поутру, проезжая Большой улицей Новониколаевска, обнаружил уже закоченевшие трупы людей в ярких конфедератках. Трупы валялись едва ли не по всей улице. Генерал понял, что случилось ночью, и, не испытывая раздражения, которое надлежало бы нынче испытывать, велел прийти в штаб старшим офицерам и генералам и сказал, что, если повторится такая ночь, у белого движения в России не останется ни одного союзника, а мы не настолько богаты оружием, чтобы пренебрегать кем бы то ни было. С тем и отпустил офицеров, а когда пришли «союзнички» с жалобой, сказал, что уже принял меры и виновные будут сурово наказаны, а зачинщики, если таковые найдутся, расстреляны.

А потом остался один и усмехнулся. Правду сказать, был доволен, что «поучили» шляхту, которая, опьянев от

свободы, нежданно-негаданно свалившейся на голову, совершенно распоясалась и с величайшей нелюбовью относилась ко всему русскому, полагая это, и только это, повинным в утере собственной государственности. Он не считал шляхту способной управлять, думая, что только и умеет кормиться у чужого стола, не важно кому принадлежащего: России ли, германским ли племенам, а может, еще кому-то, неведомому и дерзкому. Усмехался, когда слышал шипящую польскую речь и улавливал в чужом разговоре неприязнь к себе. Не смущала неприязнь, казалась ничтожно малой и несерьезной в сравнении со всем, что ему предстояло совершить.

Вот и нынче очень скоро позабыл о неприятности, которая была вызвана жалобой, пришедшей от «союзничков», и стал думать о том, что предпринять в теперешних обстоятельствах: идти ли от Новониколаевска, где нынче находился со своим войском, вдоль железной дороги прямо на восток или же предпринять какой-то маневр, который оказался бы для красных неожиданным и позволил бы оторваться от них хотя бы на день-другой пути?.. Он мучительно долго размышлял, сидя в просторной избе за высоким, с дубовыми ножками столом, что отыскали для него тотчас же, как только войско подошло к Новониколаевску, где власть уже принадлежала большевистским агитаторам, и завязало бои с рабочими дружинами. Потом адъютанты нашли более, по их мнению, подходящее для командующего помещение. Но он отказался покинуть избу, здесь было спокойно и думалось лучше, а может, он внушил себе это, на самом же деле все далеко не так. Впрочем, пожалуй, нет... Странно, но факт: ему казалось, что, сидя в крестьянской избе, он в состоянии лучше понять человека, который на протяжении ряда лет противостоит ему. В последнее время все чаще и чаще обращался мыслями к красному комдиву и находил в его действиях немало яркого, а подчас и талантливого, и это нередко радовало, но чаще раздражало, считал, что человек должен заниматься лишь делом, которому обучен сызмала. Так разумел, впрочем, скорее, хотел бы так разуметь. Но вот красный комдив, как и множество других людей, поломал его представление о человеческих возможностях, расширил до такой степени, что дальше некуда, ничего не остается, как поверить байке, пущенной большевиками, что и кухарка в силах управлять государством.

Но раздражение, которое испытывал к комдиву, не ме-

шало со всей серьезностью относиться к тому, что тот делал, старательно изучал тактику, применяемую красной дивизией, и однажды сурово обошелся со штабным офицером, который позволил себе презрительно отозваться о противнике, сказав, что тот не в состоянии придумать ничего серьезного, а воюет, как бог на душу положит. Он отправил офицера на передовую, бросив в лицо, что тот ни черта не смыслит в военной тактике вообще, а в тактике гражданской войны в особенности.

Впрочем, генерал не любил разговоры о военных премудростях, понимая, что во многих случаях дело решается вопреки этим премудростям. Уж такое нынче время и такая война, что и не поймешь ничего даже по долгому размышлению и оттого мучаешься несовершенством жизни.

Генерал сидел в избе и думал о комдиве. Казалось, благодаря тому, что находится здесь, недурно понимает своего противника. Было ощущение, что и стены избы способны сказать многое о человеке, противостоящем ему. Он думал, что дух комдива обитает в избе. В самом деле, не обитать же ему во дворце!.. Он думал так, и у него было чувство, что он в состоянии вызвать этот дух и, если не спросить открыто, то во всяком случае исхитрясь узнать, что же тот собирается нынче предпринять. Генерал поднялся из-за стола и стал ходить по избе, мысленно говорил со своим противником, а точнее, с его духом, который ощущал, кажется, всею своею душевною сутью. Странно, дух не был бестелесен, а словно бы во плоти, вот только разглядеть его не представлялось возможности, мешало неумение предельно расслабиться и всецело подчиниться желанию, которое нынче владело им, позабыв про остальное. Все последние годы был сосредоточен на какой-то мысли иль предстоящем деле и совершенно разучился чувствовать себя не личностью, волею судеб, отчасти же и собственной волею, в которую свято верил, вознесшейся над другими, а малой частью сущего, слабой и не одинаковой посреди мира.

Генерал медленно ходил по крестьянской избе, изредка поглядывал в окошко и видел такие же избы. У него было ощущение, что находится не на окраине большого сибирского города, а в деревне, может, в отчине, откуда ушел, осиротевши, отец с матерью померли в одногодье, десять лет назад, после чего ни разу не ездил туда, уж так сложились обстоятельства, не до того: все война, война, куда ж от нее денешься, не отпускает... Изредка вспо-

минал отчину, но не всю, а что-то в отдельности: старые ли деревья, почти упадающие кронами в воды тихого и угрюмого даже в ясную погоду пруда, или мостки подле пруда, где бабы, обнажив сильные крепкие ноги, стирали белье, а он, юнкер, прибывший на побывку, с замиранием сердца следил за ними, еще не понимая, что с ним, отчего во всем теле слабость и мучительное нетерпение, так хочется сорваться с места, подбежать к бабам и столкнуть их в воду, а потом глядеть, как будут барахтаться и просить, чтоб помог выйти на сухое. И он не отказал бы, помог, а потом взял бы мягкую теплую руку в свои и так сдавил, что бабе стало бы больно и закричала бы и умоляла не обижать... И после этого не однажды при встрече с женщиной возникало желание обладать ею так, чтоб сделалось ей не только приятно, а и страшно, оттого что все это мимолетно и скоро исчезнет. Да, желание такое возникало и нередко бывало исполнено, но ни разу он не испытал больше детского ощущения, которое появлялось при виде баб с крепкими белыми ногами, стирающих белье. Поначалу ждал, что такое ощущение еще появится, полагая, что в жизни многое повторяется, но с годами понял, что это не так и повторяется не все, чаще неприятное и горестное, о чем хотел бы не думать, как будто жизни нравится причинять людям боль, вот и старается и выискивает, как бы ударить побольнее.

Но вот генерал остановился посреди избы, и те смутные ощущения, которые испытывал и которые были приятны своей едва ли не земной благодатью, когда словно бы ничего не происходит, но тем не менее в душе делается все слаще и умиротвореннее, а потом она как бы уменьшается в размерах и ты тоже ужимаешься и вдруг случается диковинное, тебя уже нет на земле, а есть другой, вознесшийся в неведомые дали, откуда так хорошо видно, да еще в добром и мягком свете, когда все кажется удивительным, принадлежащим лишь тебе... эти ощущения отступили, и генерал почувствовал привычное земное удовлетворение, которое шло от того, что нашел решение, и решение, надо думать, неожиданное для красного комдива, что неотступно следует за ним, не предпринимая решительных действий, словно бы убежден, что войско противника развалится само, для этого достаточно лишь подтолкнуть...

— Да, я пойду к Томску. Он думает, что пойду на восток, держась железной дороги, а я пойду к Томску. На кой черт мне железная дорога, сплошь заставленная ва-

гонами, в которых удирают «союзнички»? Скатерью дорога! Иль я обязался охранять их?

Генерал сказал так и улыбнулся, довольный собою. В самом деле, это решение, когда про него узнал красный комдив, и впрямь оказалось неожиданным. К тому же своим решением генерал как бы отделял себя от «союзничков», опасаясь новых столкновений с ними, которые бог весть к чему могут привести, но наверняка не к единству действий, чего, впрочем, никогда между ними не было.

Генерал накинул на плечи черный с серой опушкой полушубок и вышел на улицу. Заметно смеркалось, луна стояла в небе, пока еще тусклая и словно бы незрячая, но генерал знал, что это ненадолго и скоро все переменится, луна засияет ярко и будет смотреть в глаза, самоуверенная.

Он шел по улице, задумавшись и стараясь не замечать тех, кто, оберегая его, идет нынче следом за ним, настороженно глядя по сторонам и держа руку на расстегнутой кобуре пистолета. Он шел к дому, где расположился штаб войска, чтоб сказать про свое решение, о котором теперь уже не думал. Это было привычно для него. Любое решение, принятое им, тотчас же делалось ему неинтересным, мысли переключались на другое. Нынче генерал думал о человеке в черном одеянии и похожем не то на беглого монаха, не то на инородца, придерживающегося своей, предвещающей вселенскую беду веры. Странная эта вера, когда человек говорил про нее, яростную, генералу становилось неспокойно, выходило так, будто всяк нынче не земле своим деянием, добрым ли, злым ли, приближает беду, от которой не уйти никому. Он вроде бы говорил так, но, может, и не совсем так, и только генералу кажется нынче, что так... И наступит день, вроде бы говорил он, когда беда сделается вселенской и возьмет в полон сердца, и ничего не останется, и малой меры в душе, опустошенной бедою, про которую всяк человек только и знает. У другого кого своя беда, и у всех она разная, однако ж одинаково горькая и тягостная... И виной всему будет иль злой дух, иль еще кто, принявший человеческий облик, и пребудет день, когда беда окажется столь великой, что брат зачнет предавать брата, а дочь сделается губительницей отца и всяк станет почитать это не за великое зло, а за благо, держа в сердце имя приявшего, изгнавши из него единого в горести и в страдании Господа нашего.

Генерал оспорил бы эти слова, да что-то мешало в душе ли, в сознании ли, молчал и слушал, и ничто не поменялось в худом и бледном лице, когда человек сказал и про него, про то, что люди почитают его за Моисея, который взялся вывести свой народ из Египта в землю обетованную... Он сказал так, будто генерал не должен принимать этого всерьез, куда ему, смертному, и по сей день бредущему по колено в человеческой крови, до Моисея, а коль скоро он сказал, то лишь потому, чтоб генерал понял, сколь велика его вина за убийства, что свершаются и еще будут свершаться на богом проклятой войне.

Наверное, так и было, а может, генерал все выдумал, и странник имел в виду другое, когда сказал про него как про Моисея? Жаль, нету рядом чудного человека, спросил бы:

— А что ж, иль комдив, который мне противостоит, менее повинен в пролитии русской крови?..

Он сказал так и вздрогнул, вдруг особенно остро почувствовал, что эта война есть война между русскими людьми, иль не страшно, иль не горько?.. Но кто же повинен здесь?.. Кто?.. Русское офицерство, не пожелавшее быть униженным и оскорбленным? Иль те, другие, присвоившие себе право судить всех, кто жил до них и при них, но проповедовал иную веру, что призвана была подняться над двуединой монархией Владимира Ульянова-Ленина и Лейбы Троцкого-Бронштейна?..

Он спрашивал и не умел ответить. Смутно было на сердце. Виделись тысячи убиенных русских людей. Виделись столь отчетливо, как если бы лежали на студеной земле, чуждой его сердцу и всему, к чему стремилась душа. Он знал, что в эти минуты не похож на себя, то есть не похож на человека, который в свое время безоружный, со стеком в руке, ходил в атаку впереди офицерской, ощетинившейся штыками цепи. Он не похож и на человека, кто вел нынче по вражьей земле малое свое войско и несчастных, страдающих, гибнущих от холода и мороза женщин, стариков, детей... Они шли за ним и свято верили, что выведет, он и впрямь был для этого люда Моисеем, и, случалось, матери оказывались на пути и протягивали к нему замерзающих детей и истошно вопили:

— Спаси нас, на одного тебя и уповаем!..

Они лишь от него ждали спасения, а он не всегда умел дать это, оттого мучался и подолгу не желал никого видеть. Сам про себя знал, что не во всякую пору суров

и тверд. Но, понимая теперешнее свое положение, не хотел бы, чтоб еще кто-то знал, потому был сдержан с людьми и суров.

Он остановился, вдруг послышалось, в соседнем доме кричал кто-то, кричал тоненько и жалобно. Было такое чувство, что человек выбивается из последних сил, уж и на крик-то их нету. Генерал поморщился, велел одному из тех, кто шел за ним в малом отдалении, узнать, в чем там дело, отчего человек мучается?.. Кстати, он так и сказал: мучается,— и был удивлен этому произнесенному им слову, а может, даже не слову, а всему, что стояло за ним. Странно, что сказал про кого-то еще: мучается...— а что же, сам-то иль пребывает в добром состоянии духа и ни про что у него и голова не болит?.. Да нет, в том-то и дело, что нет, он уже не помнит, когда на сердце было легко и ясно ни о чем не думалось, только о приятном. Вот именно, не помнит... Все последнее время живет в страшном напряжении и не знает, надолго ли его хватит, держа в мыслях одно, что надо идти, идти... Он должен вывести свое войско и людей, потянувшихся за войском... Но куда вывести? Вот вопрос. Где она, земля-то обетованная, готовая принять всех, кто идет с ним?.. Он не знает. Впрочем, иногда кажется, что знает, это когда черно и смутно станет на душе, кажется, вот и край, и ничего уж за ним не будет. Но нет, это душевное состояние держится недолго. Усилием воли оттесняет его, а тогда на смену прежнему приходит другое душевное состояние, скорее, умиротворенность, что в сущности странно и едва ли объяснимо. Она убаюкивает, нашептывает бог весть про что, а чаще про то, что ждет впереди.

В ее сказе нету ничего горького, светлая и влекущая, сулит надежду... И, когда умиротворенность спадает, он еще долго чувствует себя физически слабым, но потом справляется с собою и уж не думает ни про что другое, уверен в себе и видит внутренним взором многое, о чем люди и не догадываются, и это, во всякую пору доброе к нему, ласкающее воображение, поддерживает в нем силы.

Пришел тот, кого посылал в соседний дом, и сказал, человек, что кричит,— враг Отечества, и подполковник Алмазов, а он ведет дознание, еще многого не знает про него, но непременно узнает, и не такие люди ломались...

Генерал вздрогнул, это было отталкивающе неприятно, сказал сурово:

— Я велю прекратить безобразие!..— и пошел дальше, но скоро его остановил сиплый и задыхающийся голос:

— Ваше Превосходительство! Ваше Превосходительство!..

Обернулся и увидел подбегающего к нему подполковника, поморщился: не хотелось бы говорить с ним. Но что делать?.. Помедлил, дожидаясь, когда тот подойдет, а потом долго, с каким-то странным интересом разглядывал его и удивлялся тому, что Алмазов такой большой и тяжелый, а ноги у него короткие и кривые. И как держат этакую-то ношу!.. Генерал не то подумал, не то сказал про это едва слышно, ощутил неловкость, и оттого, что сказал, и оттого, что столь много внимания уделил подполковнику, которого недолюбливал, но без кого, понимал, обойтись было бы трудно.

— Ну, что у вас?..

Алмазов ухмыльнулся едва приметно, глазки стали злые, упрямые, сказал:

— А я все про то же, Ваше Превосходительство! Все про то же... Сейчас я покажу вам кое-что... Пойдемте!

Генерал поморщился, однако ж последовал за подполковником. Шли недолго, оказались в сарае на дальней окраине города, сразу за которой начиналась степь, глухая и неведомая. Во всяком случае, генерал так и подумал, глухая и неведомая, и тем страшна для всех, кто не знает про нее и малости, для него же другая, все ж и он почувствовал утесненность в груди, робость, про которую лучше бы не знать. Но она не покидала, упрямая, стоило очутиться посреди степи.

— Вот глядите, Ваше Превосходительство!.. — сказал Алмазов и, нагнувшись, сдернул рогожину с невысокого бугорка, поднявшегося посреди сарая.

— Что это?.. — бледнея, спросил генерал.

— А это, Ваше Превосходительство, убитый офицер, — с усмешкой, которую, впрочем, едва ли разглядишь, сказал Алмазов. — Причем не просто убитый, замученный. Вон поглядите, на плечах погоны офицерские...

Подполковник вытащил фонарик из кармана шинели, посветил... И прежде-то сумерки были не столь густы, а теперь в особенности, генерал увидел худое обнаженное тело и алые погоны на голых плечах.

— Ржавыми гвоздями, Ваше Превосходительство, прибили погончики-то. И, раздевши донага, отправили несчастного: иди, мол, к своим... В трех верстах отсюда разведчики подобрали, лежал, вцепившись пальцами в снежную землю, глядел пред собою невидящими глазами.

— Кто?.. — хрипло, задыхаясь, спросил генерал.

— Что кто?.. Ах, да... Партизаны, пожалуй, что...

Генерал вышел из сарая и быстро зашагал по улице, подполковник едва поспевал за ним... Впрочем, генерал не видел его, уйдя в то тревожное, что мучало, спрашивал у себя: что же случилось со всеми нами, иль вправду война освободила в человеке зверя, и теперь зверь, вырвавшись на свободу, чинит зло кому ни попадя?.. Так что же в нас еще было, кроме зверя, нынче поднявшегося над душевным таинством? Иль в нас ничего доброго и нежного не было, иль это, бывшее, оказалось столько хрупкое и слабое, что при первом же столкновении со злом исчезло, забилось испуганное в столь дальний уголок, что и не сыщешь сразу?..

Генерал оглянулся, увидел Алмазова, лицо сделалось пуще того хмурым и суровым:

— Что вам еще?..

— Ничего, Ваше Превосходительство. Я только хочу доложить, что офицер, имени которого мы не знаем, не останется неотмщенным. Я готовлю подарочек в том же духе, что и они, правда, со звездою...

Генерал не понял, о чем сказал Алмазов, думая о своем, а когда тот замолчал, велел похоронить офицера с почестями и чтоб всяк в войске знал, какою мученическою смертью тот пал... И не сразу генерал подумал, для чего это, подумал позже, когда Алмазов ушел, и он был один, те, кто следовал за ним, не смели приблизиться... Стало неспокойно, стоило допустить мысль, что этим он только озлобит людей. А то ли нынче надо, может, другое, к примеру, успокоенность и незлобивость, что больше всего способствовали бы успеху предпринятого им похода по, в сущности, уже чужой земле. Впрочем, кто может знать, какие качества в характере человека теперь всего нужнее, чтобы успешно противостоять зверю, проснувшемуся в нем? Генерал вздохнул, повторил про себя неожиданно пришедшее в голову слово — успешно, — вдруг подумал, что вряд ли нынче сыщется такое, что способно противостоять, да еще успешно, зверю?.. Напротив, зверь с каждой каплей пролитой крови делается более страшным, огромным в неистовом упорстве истреблять все, что еще есть в человеке. Странно, генерал решил, что зверь не успокоится и тогда, когда будет закончена братоубийственная война. Наверняка ему потребуются еще жертвы, он начнет метаться и искать их — и находить... Да-да, так и случится, сказал генерал и глянул вверх, на небо, на котором сияла та самая, слишком уверовавшая в свое преимущество

в сравнении со взбулгаченной кровавыми деяниями землею, тихая и спокойная, и в этом спокойствии, почти ледяном, почти не ощутимом, разве что сердцем смятенным несчастьями зримом, находящая удовлетворение луна.

9

Подошли к Томску. Командиры говорили, что в городе нет красных и там можно отдохнуть день-другой, прежде чем идти дальше. Но командиры ошибались, дурно поработала разведка, да и что, собственно, могла сделать, когда партизанские отряды возникали по всей Сибири, впереди только что не было ни одного красного бойца, а глядь, уж маячит, дожидается укрепление какое-нибудь... Тут и ошибиться ничего не стоит. Вот и под Томском произошло то же самое. Потом стало известно, что большевики вооружили рабочих угольных копей и бросили их против заметно поредевшего и уставшего войска. Да, уставшего, но не ослабевшего, а даже залютевшего, чему было немало причин, и главная — та, что поняли и непонятливые: попадешь к красным, замучают, как офицерика... Нет уж, лучше смерть, чем плен!..

Батарее капитана Тернового велели обстрелять укрепление красных, и это выглядело смешно, на орудие нынче приходилось по одному-два снаряда. Да, смешно, все же Терновой не стал спорить с командиром полка, выкатил батарею на прямую наводку, приказал открыть огонь, который продолжался совсем недолго. И, когда батарея замолчала, капитан увидел, как мимо проходят роты, ощетинившиеся штыками, и скрываются в утреннем морозном тумане.

— Пехота-матушка в атаку пошла, — произнес Иван Дымов, вздыхая грустно. — А нам и подсобить нечем. Довоевались!..

Терновой посмотрел на него, хотел сказать что-то, кажется, серьезное, и не успел, подошел поручик Милютин и, волнуясь, заговорил о том, что на городских складах хранятся артиллерийские боеприпасы, бог весть каким образом тут очутившиеся, а скорее, привезенные сюда адмиральской командой, которая намеревалась в районе треугольника Томск — Тайга — Новониколаевск остановить продвижение красных частей.

Услышав про боеприпасы, Терновой сделался энергичен, велел батарейцам примкнуть к винтовкам штыки и

кинулся вперед, размахивая наганом, который, как и винтовки, не был заряжен, последние патроны израсходовали еще прошлой ночью, когда велено было бросить орудия и поддержать усилия пехоты.

Терновой скоро слился с пехотной цепью и лишь теперь вспомнил, что надо предупредить ездового, чтоб не мешкал, поспешил следом. Вдруг и впрямь доберутся до склада с боеприпасами, а потом что же? — уйти не солоно хлебавши без снарядов, если не окажется под руками подводы? «Э, черт!..» — выругался Терновой и, обернувшись, увидел маленького рыжего наводчика, тот, увязая в длинной кавалерийской шинели, делал неимоверные усилия, чтоб не отстать. Терновой замедлил бег и сказал, задыхаясь:

— Послушай, Коромыслов!..

Но больше он ничего не сказал, разглядел в саженях пяти здоровенного солдата, что стоял в телеге и, размахивая вожжами над головой, погонял пару уже изрядно взмыленных лошадей.

— Молодец, Дымов! Молодец!.. — воскликнул Терновой и кинулся следом за подводой, почти уверенный, что ездовой не увидит его, а уж услышать что-то в этом аду — и не думай даже... Все же капитан бежал и кричал до тех пор, пока Иван, случайно оборотившись, не заметил Тернового, попридержал лошадей, хотя это было непросто: те словно бы ошалели и уж не походили на прежних тяжелых артиллерийских лошадей, которых необычайно трудно вывести из состояния полусонной дремы, не всякий снаряд, разорвавшийся рядом, способен сдвинуть их с места. Впрочем, и люди нынче тоже мало походили на себя, все больше зверея, бежали по степи, посверкивая штыками и без единого выстрела, а если у кого еще и были патроны, то он берег их для серьезного боя. Солдаты падали, когда пули красных пробивали их тела. Но, и лежа на земле, не хотели примириться с несчастьем и старались сдвинуться с места, сплевывая черную кровь и крича, а может, уже и не крича, однако ж в лицах, обезображенных яростью, подергивалась прежняя судорога. Возникало такое ощущение, что ничего не случилось и человек, павший на землю, еще подымется и побежит дальше.

Те, кто не падал, продолжали бежать, а следом за ними, обезумевшими, едва поспевал Терновой со своей командой. И, кажется, он сам и его команда тоже обезумели, позабыли обо всем на свете в эти минуты высшего напряжения душевных сил, когда смерть гуляет рядом, и

ты знаешь, что гуляет и, если еще не вырвала тебя из общего ряда, то, вполне возможно, вырвет в следующее мгновение. Ты ждешь этого мгновения с нетерпением и удивляешься, что так долго не наступает, и почти досадуешь, но про то знаешь только ты один, все, кто бежит нынче рядом, чужды тебе, впрочем, как и те, что встречают беспорядочным и неумелым, но даже и в этом случае страшным, губительным огнем.

Они добежали до позиций красных, так и не сделав ни одного выстрела. А потом началось обычное на войне убийство: те, кто держал оборону, окончательно были подавлены не только физически, а и нравственно, бросали на землю оружие, думая, что так лучше, авось да и смилуются над ними, не побьют, хотя сами же видели минуту назад, что соседям справа не помогло, все были заколоты штыками. То же самое скоро случается и с этими, а потом еще с кем-то еще... И так продолжается до тех пор, пока солдаты вдруг не поймут, что убивать уже некого. Те, кто был достоин смерти, давно получили свое и теперь лежат на земле, бездыханные. Это подействует на них удручающе, почти с ненавистью станут глядеть друг на друга, думая про себя, что, наверное, вон тот паршивец убил последнего супротивника и не дал ему, разгоряченному боем, отличиться еще раз, может, в последний раз, неизвестно, как сложится следующий бой с более упорным и умелым противником.

Странно, но это действительно так: после каждого боя в голове возникают подобные мысли, и солдату нелегко справиться с ними, и он еще долго хмурится и злится на товарищей, хотя не умеет сказать о причине своего душевного состояния.

Терновой со своей командой добежал до мелких окопчиков, порегородивших улицу. Окопчики были вырыты не потому, что возникла в них необходимость. Просто шахтерам показалось, что так делается. Но коль скоро так делается, то чем мы хуже других?.. Терновой добежал до окопчиков, не сразу, а все ж удалось ему отделить свою команду от пехоты, которая в эти минуты в награду за испытанный страх с ожесточением начала противоправное даже на войне дело — убийство людей, побросавших оружие и уже ничего не помнивших про себя и едва ли не равнодушно принимающих смерть. Капитан отошел со своими людьми в сторону, отыскивая глазами Дымова, скоро увидел его, запрыгнул в телегу, то же самое сделали и остальные.

— Поехали!.. — крикнул Терновой и вырвал из рук солдата вожжи. Он знал, где находятся городские склады, лет пять назад приезжал сюда из действующей армии, правда, уже не помнит, по каким конкретно делам, но, наверное, по делам, связанным со снабжением. Тогда ходил на те склады и говорил со старым майором, который служил там, и, кажется, даже ругался...

Терновой думал, что он со своей командой будет первым на складах, но он не был первым, сюда же приехали из разных частей и теперь делили боеприпасы, которых оказалось не так уж и много, как предполагали, коль скоро намечалось близ Томска создать глубокую линию обороны. Терновой соскочил с телеги, кинулся к складам, велев батарейцам следовать за ним.

В складских помещениях сумрачно и шумно. Терновой подумал, что батарейцы ничего уж не сыщут, все разобрано, и чертыхнулся, но не хотел смириться и пошел в глубь складских помещений, где было не так людно. Попервости и здесь артиллеристы не могли ничего сыскать и уж отчаялись ходить по темным складским забоям, Коромыслов, заряжающий первого орудия, ранее других отчаялся и плелся позади, хотя отличался нравом добрым и веселым. Видать, доконали усталость и нервное напряжение, что сразу же после боя не чувствовались, а потом навалились, и надо было приложить немало усилий, чтоб одолеть в себе это. Терновой тоже упорно боролся с усталостью, однако ж не знал, кто же, в конце концов, одолеет. Впрочем, это же самое ощущали другие и в сердцах, про себя ругали капитана и не за то, что привел сюда, а за то, что привел слишком поздно. Но вдруг Антон Коромыслов закричал радостно, запнувшись и подымаясь с земляного пола:

— Гранаты, братцы! Гранаты!..

Терновой и вся команда кинулись к солдату, тот стоял в углублении, отодвинутом от главного хода и заваленном гранатами, не сказать, много их тут, мало ли, артиллеристы решили, что не так уж и мало, и были довольны. Когда к ним подходили из чужой части, скорее выпроваживали отсюда, говоря:

— А ну, двигай, двигай! Неча!..

А потом, оставив возле углубления Дымова, начали таскать гранаты на подводу. Работали до тех пор, пока в углублении, которое оказалось не таким уж и маленьким, не осталось ни одной гранаты. Собирались отъехать, но тут в темноте складских помещений послышалась воз-

ня, а потом крики, сначала возмущенные, а спустя немного испуганные и молящие.

— Че там?.. — недоуменно спросил Дымов.

— Пойду разведаю, — сказал Коромыслов, блестя глазами, а помедлив, добавил: — Если, конечно... — выжидающе поглядел на Тернового своими маленькими и словно бы еще и теперь не остывшими от злости, вызванной недавно случившимся боем, глазами. Капитан понял его взгляд и сказал:

— Иди, только поживее....

Коромыслов заспешил... Спустя немного, вернулся, от него узнали, что на складах среди прочего военного люда оказались конвойные воеводы Киселева, в свое время несшего службу при ставке адмирала. Понятное дело, им не нужны были снаряды и гранаты, искали другое и, в конце концов, нашли, на складах находились тюки с военным обмундированием, медикаменты... Конвойные прибрали это к рукам и уж намеревались вынести, уложить на подводы, но солдатской братии тоже захотелось иметь аглицкие штаны да сапоги, свои-то «каши просют», а конвойные не пожелали поделиться, отчего случилась «заваруха», солдаты закололи штыками Киселева, несмотря на то что орал страшно и грозил судом Верховного, и всех, кто пришел с ним...

Коромыслов сказал о том, что увидел, стараясь не глядеть на свои сапоги, все ж то и дело опуская глаза и щурясь, точно пряча в них хитрость ли, дерзость ли, в конце концов, и Терновой посмотрел на сапоги солдата и признал, что это не его сапоги, другие, еще вчера Антон скулил, что сапоги износились и не держут тепла... Терновой догадался, откуда сапоги, сказал строго:

— А, черт!.. Поехали, да поживее!.. Если хотите остаться живыми. Небось адмирал не простит гибели любимчика?..

Он сказал так, но тут же подумал, что Верховный нынче вряд ли в состоянии что-либо сделать: и прежде не чувствовал себя уверенно в частях, которыми командовал генерал, а нынче и подавно: сила уж не та, да и сам далеко отсюда...

Солдаты шли подле телеги, груженной гранатами, и негромко переговаривались и почти не глядели по сторонам, точно все им обрыдло и ничто не радовало глаз. Однако это не так, просто за время похода ко всему сделались равнодушными, хотя могли и воскликнуть в удивлении:

— Надо же, чудо-то какое!..

Но так происходило не часто, а нынче они и вовсе были заняты другим, оживленно говорили о том, что сумели достать гранаты и теперь на какое-то время им хватит боеприпасу, сетовали на начальство, которое позабыло про них, не вспомнит даже тогда, когда на батарее не останется ни одного снаряда, всего-то и скажет, коль обратишься к нему:

— Добывайте у красных... У них много чего есть!..

«Знамо дело, есть, — говорили солдаты, — да, получается, не про нашу честь, иль завсегда можно отбить у красных?..»

Солдаты ругали начальство, но вяло, неэнергично, и не потому, что опасались Тернового, который не принимал участия в разговоре, думая свое, привыкли к тому, что и словом не помешает им судить о начальстве. Могли судить обо всем, только не о генерале, малым словом не обижали и не оспаривали его решений, казалось, если бы он послал их на смерть, пошли бы... Привыкли верить своему генералу, эта была вера, родившаяся не здесь, в неведомой для многих сибирской степи, а на берегах Волги, когда торжествовали Победу. Но и здесь, в степи, эта вера не погасла, а сделалась более крепкой. Солдаты нутром чуяли, что при любом другом командующем, не столь энергичном и смелом, все уже давно были бы смяты, уничтожены, а их семьи отданы во власть победителя, про которую знали только, что несправедлива и жестока.

Они шли за своим генералом, не ведая куда и зачем?.. Но втайне надеялись, что на огромных сибирских просторах отыщется уголок, где красные оставят их в покое и где они начнут жить, не подчиняясь ничьей чужой воле, своим уставом. И это была хрупкая надежда, знали, что хрупкая. Но, если бы она даже исчезла совершенно, и тогда солдаты не покинули бы своего генерала, их связывало нечто такое, про что сами не понимали, но что неизменно жило в сердцах, большое и упрямое, и вело за генералом. Куда?.. Может, к собственной гибели? Может, и так...

Терновой нетерпеливо шел по улице, все время казалось, что лошади едва тащат повозку, тянуло попенять ездовому, но Дымов, как и все солдаты, был увлечен разговором, и капитан не желал мешать... Тем более что и в нем какое-то время жило удовлетворение от недавней удачи, радовался, что теперь есть чем зарядить орудия. Но радость оказалась недолгой, уступила место другому чувству, про которое Терновой не хотел бы ничего знать.

Но что делать, коль скоро появилось и уж не отстанет? Нелегко найти название чувству. Скорее, это нетерпение, вызванное желанием встретиться с женщиной, впрочем, близкой ему не по духу. Это была другая близость, холоднее и жестче, чем та, первая.

Пришли на позиции, где стояли орудия батареи. Капитан сделал необходимые распоряжения и поспешил в ту сторону, где в начале боя находились все, кто следовал за войском, а среди них и Софья Никаноровна. Не сразу отыскал ее и, странно, даже не почувствовал волнения, это вызвало удивление, которому не сумел бы найти объяснения. Когда же появилась Софья Никаноровна, а появилась она через полчаса после прихода Тернового, и была растревоженна, это сейчас же передалось Терновому, он тоже начал беспокоиться, спросил:

— Что с тобою?..

Она не ответила, и он сказал:

— Как я рад нашей встрече!.. Как я рад!..

— А ты думаешь, я не рада? Этот бой и ты... Я так боялась за тебя, так боялась!.. К тому ж корнет Бельский видел тебя среди солдат, когда ты шел впереди всех и кричал...

— Бельский?.. — нахмурившись, спросил Терновой. — Я не видел его во время боя. Но отчего Бельский? Что ему понадобилось от тебя?..

Софья Никаноровна с минуту медлила, точно бы желая сказать про то, что у нее связано с Бельским, и это Терновой воспринял с раздражением.

Она почувствовала его раздражение и с легким смущением, во всяком случае, подумала, что с легким смущением, сказала:

— Да ему-то ничего от меня как раз и не надо. А вот мне... Ну, понимаешь ли, в контрразведке служит подполковник Алмазов. Я знаю его как серьезного человека, а у меня есть, ты заметил, наверное, кольца, браслеты, золото... все, что досталось мне в наследство. Так я подумала, не лучше ли передать все это на хранение подполковнику Алмазову? Вот мне и понадобился Бельский, чтоб связал с ним.

Софья Никаноровна вздохнула и с тем же легким смущением, которого добивалась весьма старательно и которое теперь жило в ее холеном, чересчур белом и красивом лице, когда в эту красоту не хочется верить, точно бы ее вовсе нету, а есть другое, холодное и даже неприятное, но тем не менее такое, про что не забудешь сразу, все гля-

дел бы и глядел в чужое лицо, посмотрела на Тернового, сказала:

— А ты считаешь, что вдали от родины мы можем обойтись без всего этого?..

Она сделала руками нечто округлое и приметное и уж совсем без смущения, а строго, точно бы говоря с молодым неопытным человеком, продолжала:

— Да нет, в любом случае, если нам даже очень повезет и мы сумеем попасть в ту страну, куда хочу я, мы не сможем обойтись без всего этого.

И снова она сделала руками нечто округлое и приметное и замолчала, опустила голову, словно бы хотела, чтоб Терновой сказал: «Ты умница и поступила правильно». Но он сказал другое, и это отдалило Софью Никаноровну от него, вдруг поняла, что он не так прост и совсем не безумно влюблен и если что-то удерживает его возле нее, то отнюдь не любовь, а иное, о чем она не знает, впрочем, об этом, кажется, не знает и он сам, и потому томится и не поймет, как ему быть в том или другом случае, оттого и настроение у него так быстро меняется, точно бы все еще не решит, что происходит с ним?.. Софья Никаноровна была наблюдательна и самолюбива и, поняв, что происходит с Терновым, хотела уйти, ничто не удерживало возле этого человека, теперь у нее появился другой защитник, обладающий значительно большими возможностями, чем Терновой, этого защитника она знала не первый год и могла надеяться на него. Все же она не ушла, что-то не связывалось, не сходились концы с концами, что-то все упадало, и цепь рассыпалась, словно бы звенья были слабые. Софья Никаноровна злилась, и скоро это уже нельзя стало удерживать в себе, на лице выступили ярко-красные, неприятные пятна, почувствовала это и, прикрыв лицо муфтой и отворачиваясь, сказала:

— Ах, что же мы стоим?.. Может, вы отыщете для меня место, где я могла бы отдохнуть? Или вы не в состоянии?.. А вот подполковник Алмазов...

И тут поняла, отчего не связывалось. Подполковник Алмазов никогда не был для нее защитой, она и не могла надеяться на это, просто их соединяло дело, которому служил он и которому она с недавнего времени тоже стала если не служить, то прислуживать, обламывая в душе остатнее, еще не заполненное тихой, осознанной ненавистью, про которую думала, что та единственно движет жизнью.

— Да, да, подполковник Алмазов, — сказала Софья Никаноровна. — Он уже отдал необходимые распоряжения, и мы имеем возможность отдохнуть в тепле до утра. Пойдемте, капитан!..

Терновой собирался отказаться, неприятно пользоваться услугою Алмазова, которого терпеть не мог, но отказаться недостало сил, не физических, нет, хотя и устал изрядно, а тех, про которые говорят, что властвуют душою, непривычно слабы нынче и безотказны, так что Терновому сделалось не по себе, однако ж, и совершив усилие, он не сумел одолеть в себе этого и вяло махнул рукой, соглашаясь...

(Продолжение следует)



В оценке нынешней ситуации в России, в многообразии рецептов, предлагаемых для спасения экономики, прогнозов политического характера ничто не вызывает сейчас столь ошеломляющего чувства настоящего потрясения, нежели прочтение того, что было написано, предсказано еще в эпоху застоя в книгах и статьях, которые выходили лишь в самиздате. Я с волнением читаю написанную еще в 1971 (!) году статью Игоря Шафаревича «Есть ли у России будущее?». Еще тогда, в самый пик застоя, человек, страдая за судьбу Родины, писал: «Едва только стал к нам возвращаться дар свободной мысли, а уже возник этот страшный, но неизбежный вопрос: каково будущее России и наше место в ее судьбе? Как ни отпугивает он своей непосильностью и неразрешимостью, о нем нельзя не думать, от ответа на него зависят ответы на остальные вопросы жизни. А думать страшно, потому что возникает сомнение, которое жутко и выговорить: жива ли еще Россия? Ведь жизнь и смерть народов не так резко разграничены, как у живых организмов. Историческое предназначение народа может быть исполнено, творящая душа может его уже покинуть, а тело его — государство — будет десятилетиями активно: казнить еретиков или покорять соседей. Для великой страны жить — не означает лишь не распадаться на части и сводить концы с концами в своем хозяйстве. Она должна еще осознать ту цель, ради которой существует, свою миссию в мире».

О будущем России в 70-е годы многие не очень и задумывались. Оно было ясным и выражалось в идеалах коммунизма, коммунистической перспективе. Сегодня мы ясно видим, куда ведет этот путь, стали более трезво оценивать ситуацию, начинаем внимательнее прислушиваться к словам тех, кто задумывался о нашем буду-

щем еще в эпоху безгласности.

Игорь Ростиславович Шафаревич, член-корреспондент АН СССР, друг и сподвижник великого русского писателя А. И. Солженицына, — наш гость.

Корреспондент: Игорь Ростиславович, вы, наверное, обратили внимание, что в последнее время громко о себе заявляют два общественно-политических течения. Цель первого — сделать все, чтобы приблизить общество к введению у нас политической и экономической системы западного типа (то есть разговор идет о капитализме). Другое течение призывает отстаивать социалистические идеалы. Как будто и не предполагается никакого третьего пути. Что вы думаете обо всем этом, не кажется ли вам, что мы обедняем самих себя, сосредоточиваясь лишь на двух «измах», споря лишь о том, куда двигаться — в социализм или капитализм?

И. Шафаревич: Мне кажется, нельзя перенять путь западной цивилизации. Мы находимся в такой экономической ситуации, прецедентов которой не было. У нас создана колоссальная охватывающая всю страну глыба государственной экономики. И как ее сделать жизненной, действующей? Такая проблема ни перед каким капитализмом не стояла, он никогда ее не решал. И поэтому применить западную модель к нашей нельзя, можно только совершенно разломать на куски экономику, разбить ее в прах и потом думать, что мы, пользуясь образцами Запада, можем построить то же, что и у них. Это была бы такая катастрофа, о которой сейчас вряд ли кто может серьезно думать и которую вряд ли страна переживет. А кроме того, когда говорят о капитализме, то как-то странно употребляют это слово — как будто это какой-то лозунг, который делает все понятным. Капитализм же бывает очень разным: есть капитализм в Швеции с высоким уровнем жизни, а есть капитализм в Бразилии — это ведь тоже капиталистическая страна — с колоссальной разницей экономического уровня между богатыми и бедными, озлоблением, терроризмом, тоталитарным режимом, время от времени приходящим к власти, и невероятными, космического размера, долгами иностранным государствам. А есть еще ЮАР, например, — тоже капиталистическая страна, где лишь у небольшого меньшинства самый высокий уровень жизни в мире, а остальные живут в состоянии, близком к заключенным в наших лагерях. Так вот кто же гарантирует, что если мы применим, в принципе, капитализм, то мы попадем в состояние Швеции, а не в состояние Бразилии или ЮАР?

К нашей ситуации западные приемы просто не применимы, а вернуться назад в истории никогда, в принципе, нельзя. Но возможно пользоваться той мудростью, которая накоплена была веками в человеческой истории, в истории страны. Всем человечеством она вся сохраняется в различных институтах — в церкви,

например. Вот пользуясь этой мудростью, нужно искать выход так же, как решается любая другая проблема человеческая. Надо искать самим своим умом выход из ситуации, которая сложилась.

Корреспондент: Вы призываете не отстаивать и так называемые «социалистические идеалы». В одной из ваших статей вы называли их слишком расплывчатыми. И, в самом деле, социалистический уклад в нашей стране называли и «развитым», и искаженным, и «казарменным», даже «феодальным»... Вряд ли можем, пишите вы в одной из статей, «извлечь нечто положительное и из черного опыта Китая или Красных Кхмеров в Камбодже. В других странах проповедуется синдикалистский социализм (анархизм), «византийский» (Индия), «исламский», «африканский» социализм». О каких же именно идеалах идет речь из этого пестрого выбора?

И. Шафаревич: Все наши крайние течения схематичны. Вообще же, если надеяться, что сначала можно просто придумать в виде схемы какой-то выход, а потом его осуществить в жизни, — это будет утопией. И когда к таким схемам пытаются приладить жизнь, то жизнь идет по другим, обычно прямо противоположным путям. И чтобы схему приладить, нужно эту жизнь губить, уродовать, как у нас и было. И только решая наши проблемы, каждый шаг заново продумывая, только так и можно найти какой-то жизненный выход. Я об этом уже где-то писал, призывая начинать строить нашу жизнь, исходя из ясного принципа: «основной закон — благо народа». Не опираться ни на ту, ни на другую догму, а исходя из реальной нашей ситуации, сочетать те принципы, которые присутствуют в любой экономике: рынок, частную инициативу и государственное регулирование. Это поможет создать стабильную, здоровую экономику.

Корреспондент: Стоит ли вас понимать так, что сегодня следует подвергнуть критическому анализу идеи Маркса, даже отбросить это учение вообще как неприемлемое для нашей жизни?

И. Шафаревич: Понимаете, теория Маркса, она вообще ни к какой жизни не имела отношения. Это теория того, как производить революцию. Когда Маркс умер, на могиле его выступал Энгельс — в таких ситуациях, мне кажется, люди не врут, — он свою речь начал словами, что Маркс прежде всего был революционером. Так оно и было. Вся жизнь Маркса была посвящена тому, как разбить, уничтожить ту жизнь, которая существовала. И его экономическая теория там играла второстепенную, очень вспомогательную роль. Она имела цель внушить людям, что существуют какие-то надчеловеческие законы, такие, как законы физики — железные законы, — в тисках которых люди являются песчинками, и поэтому необходимо снять с людей ответственность за то, что они делают. А с другой стороны, дать стопроцентную уверенность, что

пойдет так, а не эдак, что историческое развитие все равно пойдет только лишь по этому пути и у тебя есть только один выход — двигаться в этом направлении.

Маркс не был экономистом. «Капитал» его редко кто читает, от стиля настоящих экономических книг это очень далекое произведение. Оно в конце концов основывается на какой-то фантастической теории стоимости, по которой стоимость определяется количеством затраченного труда. Как этот труд мерить? Совершенно не понятно, как — в килограммометрах или каким-то иным образом. Это совершенно не та теория, которую можно взять и проверить. Никогда никакие капиталисты не пытались воспользоваться теорией Маркса. Казалось бы, самопотребителями ее должны были быть не революционеры, а капиталисты. Маркс ведь проанализировал капиталистическое общество.

В конце концов из его теории вытекает вопиющее противоречие, что механизация промышленности уменьшает доходы. И это не враги его обнаружили, это так ясно видно, ведь количество-то труда, которое нужно затратить, уменьшается... И как Маркс выходит из этого противоречия? Он говорит: да, для того, чтобы преодолеть это противоречие, нужно пройти много промежуточных звеньев, точно так же, как в алгебре нужно провести много промежуточных звеньев, чтобы из ноль деленное на ноль получить конечную величину. Вот тебе и научно-экономический совет! Строить с помощью такого рассуждения экономику?!

Он сам увидел, что эта экономическая теория никак дальше не идет. И после выхода первого тома «Капитала», который предполагалось продолжить, он прожил еще 16 лет и ничего по экономике не опубликовал. В письме же Энгельсу он задает самые невероятные вопросы: как же это так, «дебет» и «кредит», как ведутся бухгалтерские книги, расскажи, как это делается. А когда Энгельс ему все это разъясняет, пишет: вот, мол, мне теперь все понятно, если б читатели знали, как мало я во всем этом понимаю... Это был действительно потрясающий гений революции, который понимал, какие идеи нужно внушать массам для того, чтобы осуществлять революцию. Одна из идей — материалистический взгляд на историю, связанный с экономикой. Но она к построению какой-либо экономики, по-моему, и отношения даже не имеет. Или вот знаменитое предсказание, что после революции государство станет отмирать. Или что исчезнут национальности после пролетарской революции. Теперь мы видим, как исчезли у нас в стране национальности!

Корреспондент: Вы бы посоветовали сейчас молодым людям, тем, кто сейчас учится в школе, в вузе, кто выходит на самостоятельную дорогу жизни, читать и изучать Маркса?

И. Шафаревич: Конечно, конечно. Безусловно. Это грандиозный исторический опыт всего че-

ловечества, не только наш. Другое дело, что молодых людей заставляют это учить, им это скучно, они от этого вообще отмахиваются. И это очень страшно, что они могут мимо этого вообще пройти. И если они столкнутся в будущем с чем-то другим, под какой-то вывеской, в других одеждах, — они окажутся беззащитными. Наоборот, продумывание идей Маркса в свете того опыта, который имеем, мне кажется, для всякого, кто хочет понять судьбу страны, судьбу всего человечества, всей истории новейшей, это страшно важно. И это увлекательно очень, потому что можно и поставить вопрос: а почему же так произошло? Почему мы все в это так поверили? Это тоже очень важно.

Корреспондент: Игорь Ростиславович, я знаю, что вы одно время были очень увлечены марксизмом, теперь вот такой отход... Вас даже сейчас иногда называют одним из лидеров антикоммунистов.

И. Шафаревич: Увлечение марксизмом я пережил в молодости. Я могу сказать, что меня тогда привлекало в учении Маркса. Кстати, теперь я могу понять, почему люди так долго терпели сталинский режим. Во-первых, марксизм был привлекателен для меня тем утверждением, что в истории есть смысл, что в истории есть какая-то логика и можно какую-то формулу для истории вывести. То же примерно, что утверждает и религия, как бы осмысленность истории, даже если ты чего-то не понимаешь, то это тем более привлекательно, интересно, значит, это какая-то тайна, в которую ты все равно при усилии можешь проникнуть.

Второе. Это более сложное — та тайна истории, которую открываешь, это тайна какого-то бездушного грандиозного механизма, действующего в соответствии с единообразными законами: как сделаны, например, крылышки стрекозы и как происходят революции и как расположены светила на небе... Все это — чисто механически. Какой-то грандиозный механизм, какие-то (такое было чувство) железные колеса вращаются. Колоссального, космического масштаба процесс! Он безжалостный и бессердечный, но все-таки для тех людей, которые его понимают, он дает ощущение, что ты можешь охватить этот процесс. Хотя ты для него песчинка и он может легко тебя перемолоть, но ты все же своим умом способен тем не менее его охватить — это давало чувство холодной, но грандиозной красоты.

Надо, конечно, сказать в свое оправдание, что действительно мое-то поколение в таком положении находилось, что никакой информации не было, кроме, разумеется, официальной. Если историков я хотел читать, то только, разумеется, мог читать марксистских и т. д.

Корреспондент: А потом изучили основательно Маркса, нашли много разных недоразумений в его статьях и просто, видимо, трезво стали оценивать реальную жизнь вокруг.

И. Шафаревич: Да, я много читал Маркса, чего, к сожалению, люди, исповедующие марксизм, как правило, не делают, они часто имеют смутное представление о том, что у Маркса все очень научно, как «научно», они не стараются понять. А я вот сделал такую «ошибку», я-то начал все это понимать, и это меня очень сильно излечило... Излечение это проходило, конечно, под большим воздействием Достоевского, да и, впрочем, помогли еще и собственные чувства. Надо верить своему сердцу — это главное. Когда чувство говорит, что это — бесчеловечно, мерзко, то нельзя сказать, что это есть некоторая высшая мудрость, которая тебе просто не доступна. Верил непосредственному человеческому чувству. А потом выпутывался с помощью марксистских же учений. Я помню, что еще мальчишкой я вдруг придумал теорию того, что наше общество на самом деле классовое. Я был совершенно потрясен. А потом оказалось (несколько лет спустя), Джиллас такую же теорию выдумал, она называлась «Теорией третьего класса». Тогда можно было мыслить только категориями присвоения прибавочной стоимости, классов и т. д.

Переворотом, конечно, для меня была смерть Сталина, а потом — начало хрущевской эры, когда оказалось, что в стране что-то живое сохранилось. А раньше казалось, что той России, которая существовала тысячу лет, уже нет, а есть что-то другое. И вдруг у нас существует движение, какие-то признаки жизни. Это, конечно, очень стимулировало. И уже не думать о том, что же происходит, было невозможно. Появилась мысль, что еще можно спасти ту страну, которая существовала тысячу лет, можно спасти нашу историю. Стал делать все, что можно было — писать книги, которые потом издавались за границей, интервью иностранным корреспондентам давать, помогать церкви.

Корреспондент: Общеизвестна ваша роль в правозащитном движении, вы участвовали в нем вместе с академиком Андреем Дмитриевичем Сахаровым, публиковались в «Вестнике» русского христианского движения», участвовали в составлении (вместе с Александром Исаевичем Солженицыным) сборника «Из-под глыб». И вот ваша работа «Русофобия», значение которой нами, живущими сегодня, быть может, еще не в должной степени оценено. Интересно, как воспринималась эта книга тогда, только что вышедшая в «самиздате»?

И. Шафаревич: Я, конечно, был поражен, что именно тогда, когда до перестройки было так далеко, люди вдруг стали ее читать, размножать, передавать друг другу — я от самых разных людей стал узнавать, что они ее читают. Это была большая для меня неожиданность.

Вообще этой работой я начал заниматься с 1977 года. Но, однако же, мне давно уже казалось, что существует эта проблема, что ситуа-

ция далеко не такая, сама собой ясная, есть в чем разобраться. Толчком же послужил один эпизод. Я участвовал в подготовке отдельной книжки «Вестника русского христианского движения», мы собрали все работы, написанные в Советском Союзе, переправили их в Париж, в редакцию «Вестника». Я писал там на другие темы, но обнаружил в этом номере несколько работ, которые обращали внимание на такое странное течение — доказать то, что вся русская история несла в себе коренной порок, вечное рабство, отсутствие чувства собственного достоинства у русских, ненависть к иностранцам, ненависть к свободе, зависть друг к другу и т. д. В сборнике были статьи историков, которые это опровергали, один — на одном конкретном материале, другой — на другом. И когда я прочитал эти статьи, мне стало ясно: нельзя же так по частям опровергать, тем более что обвинения часто были совсем не конкретные, так что их даже и обсуждать трудно, просто декларации. Раз это всплывает, так часто проявляется эта концепция, значит, у нее должна быть общая причина. Не то или иное высказывание нужно опровергать, а постараться понять общую причину, вот это было, пожалуй, толчком для того, чтобы мне сесть за стол и начать писать.

Корреспондент: Я знаю, что в определенных кругах нашего общества очень болезненно была воспринята публикация этой работы в «Нашем современнике». Все дело, видимо, в том, что в ней поднимается вопрос о еврейском националистическом влиянии на формирование взглядов «малого народа». Вас обвиняли и в антисемитизме, и шовинизме. А между тем русофобская кампания не стихает — чуть ли не козырем стало стихотворение Лермонтова (точнее — стихотворение, приписываемое Лермонтову) «Прощай, немытая Россия»! А тут вы еще дали повод для нападок, открыто объявив протест против публикации «Все течет» В. Гроссмана.

И. Шафаревич: Письма я разбирал после выхода «Русофобии» в «Нашем современнике» — около половины, скажем так, отрицательные. Страсти в них накалены. Ну, что можно сказать о таком письме — «Разрешите к Новому году пожелать вам подохнуть!». Что касается стихотворения «Прощай, немытая Россия», раз и навсегда надо было бы ликбез провести. Никто никогда не видел подлинника этого стихотворения. Оно было напечатано много десятилетий спустя после смерти Лермонтова, причем в разных вариантах, так что непонятно, какой из них истинный. Приписывать его Лермонтову, как безусловное выражение его взглядов, нет никаких оснований. Однако сейчас важно понять, почему все же так настойчиво приписывают его Лермонтову. Я взял учебники — я не могу ручаться, что в учебниках этого года так, но года два назад я взял учебники литературы и обнаружил это стихотворение в двух клас-

сах — и в шестом, и в восьмом. Оно признано столь важным, что нужно, чтоб два раза его проходили. Чтоб уж никак не забыли! Мне кажется, что это стихотворение — не точка зрения Лермонтова, потому что Лермонтов написал много и можно было по его произведениям понять, соответствует это его взглядам на Россию или нет, вся ситуация с этим стихотворением показывает, что существует такое течение, которое стремится внедрить и вдолбить в головы ребят вот это — «немытая Россия»...

А возьмите вы этого Гроссмана! Там с большим темпераментом написано о рабской душе русских и т. д. о нашей истории. Но он не приводит фактов, это — чисто эмоциональное. Его работу можно анализировать как выражение чувств Василия Гроссмана, там нет ссылок на тот или иной исторический факт, который можно было бы обсудить и опровергнуть. Он не говорит, относится это к Ивану Грозному или к Смутному времени, его высказывания абсолютно абстрактны, их нельзя всерьез обсуждать как историческое высказывание. А с другой стороны, это вообще совершенно невероятно, что может существовать страна на базе только вечного такого рабства, о котором пишет Гроссман. Откуда же взялся Пушкин, Достоевский, Гоголь, Ломоносов, Менделеев, Лобачевский; громадная страна? Это вообще фантастическое представление, которое предлагает нам Гроссман. Такие концепции, по-моему, высказываются только в пропагандных целях. Такую концепцию высказывал Гитлер, потому что она ему была нужна для того, чтобы завоевать Россию. Эта концепция не может быть верной ни для одной страны, это просто нелогично, это как бы не соответствует принципу сохранения энергии. На таком чисто негативном базисе не может существовать большая страна с культурой, своей цивилизацией.

Корреспондент: Такие концепции, говорите вы, необходимы для войны с Россией. Вы считаете, что подобную цель ставили перед собой и публикаторы повести Василия Гроссмана?

И. Шафаревич: Очень трудно об этом говорить. Мне не хочется залезать в чужую душу, это, мне кажется, нетактично. Это они очень любят анализировать русскую душу, говорить о том, какие там бездны мерзости, жестокости и т. д. Мне, повторяю, кажется нетактично залезать в душу и говорить, почему эти люди так сделали. Я предпочитаю исходить из того, что это не есть какой-то задуманный план. Просто навязывают эту точку зрения другим, потому что она им выгодна. Я думаю, что они сами мыслят, чувствуют в таком же направлении. Как это сложилось? Я в статье пытался это показать. Она не новая, эта концепция. Против нее выступал Достоевский. Надо читать и читать «Дневник писателя», это, может быть, самая умная книга в мире.

Корреспондент: Игорь Ростиславович, ведь возникает закономерный вопрос, что против Рос-

сии давно готовился заговор? Не считаете ли вы, что следует серьезнее рассматривать выступления «Памяти», утверждающие, что источник всех бед русского народа, приведший к развалу экономики, нравственной деградации, унижению народа, экологическому кризису — так называемый «сионистско-масонский заговор»?

И. Шафаревич: Я не имею контактов ни с одним из деятелей «Памяти». Относительно заговоров я скажу. Но сначала несколько слов о самой «Памяти». Мне кажется, что это общество — колоссально важное явление нашей жизни. С какой точки зрения? В Москве, как мне говорили, имеется, по крайней мере, семь различных «Памятей», которые враждуют и считают друг друга предателями. Влияния они имеют, как видно, очень мало, на их митинги приходит 100—200 человек, может быть, больше. Пресса вся против них, собственной прессы у них как будто нет. Европейский парламент требует запрета «Памяти». И эта вся шумиха, на мой взгляд,— отражение неприятия русской национальной идеи. Сама «Память», повторяю, влияния сколько-нибудь значительного не имеет (максимум она однажды собрала 500 человек, это была и первая, самая многочисленная демонстрация, когда они с Б. Н. Ельциным встречались, а вот хотят представить «Память» как символ русских национальных тенденций.

Меня иногда спрашивают иностранные корреспонденты об отношении к событиям в ЦДЛ. Я им говорю: в вашей стране такие события происходят каждый день. Где-то какие-то 20 человек произвели столкновение с 60, кого-то ударили, какой-то лозунг вывесили, скандал произошел. Единственная ситуация, при которой это не происходит, когда имеется железная полицейская власть. Как только она исчезает, за это приходится платить. Почему же, это я уже у них спрашиваю, вас больше интересует подобное событие в Москве, нежели в любом вашем городе? Вот это вы мне расскажите. Они смеются и не рассказывают...

Теперь что касается заговоров. Конечно, это очень примитивная картина, если представлять ее так, как видят сторонники этой «теории», что есть действительно заговор, люди входят в определенную сеть. Они получают от старших указания, те — еще от старших, а в результате наверху стоит какой-то главный штаб, который распоряжается всем во всем мире. Такой секрет никогда бы не был удержан, он рано или поздно сделался бы известным. Вот, например, в Германии говорили: Гитлер пришел к власти при помощи заговора, он всех обманул, он скрывал свои планы и т. д. Потом сами немцы же посмотрели — ничего подобного: в его книге «Майн кампф» это было написано, в речах было высказано. И иначе быть не может, потому что большая организация, она должна вербовать своих сторонников, она должна распространять свои идеи, она не может их скрывать. Поэтому идея тайного

заговора, смысл которого остается известным только посвященным, она вообще, по-моему, не реалистична в истории. Таким образом может готовиться лишь маленький дворцовый переворот. Нет, не верю я ни в какие мировые заговоры. Но, с другой стороны, не заговор, а просто люди, которые имеют одинакового ориентирования взгляды на жизнь, они друг к другу тянутся, объединяются и даже, не образуя формально какую-либо партию, группу или организацию, они друг друга узнают, чувствуют, поддерживают и т. д., все это, конечно, всегда существует.

Есть такое направление, о котором я писал, которое враждебно национальным чувствам. Это направление воспринимает возможность органичного развития России в направлении ее исторических традиций как некоторый порок. А эти люди ведь тоже друг друга поддерживают, они являются единомышленниками. Они развивают идеи друг друга. Я об этом целую статью написал.

Корреспондент: Вы говорите о «русофобии» и таком понятии, как «малый народ». Что касается «заговора», как ни странно, это положение до сих пор принимается некоторыми на веру. В частности, например, в Израиле тоже существует подобная точка зрения. Об этом мне говорил московский литератор, исследователь наследия идеолога белого движения члена Государственной думы В. В. Шульгина Дмитрий Анатольевич Жуков. Он, в частности, цитировал книгу, вышедшую в Израиле на русском языке, — «Возвращение». Автор ее Герман Брановер пишет: «Мои братья — хасиды (это секта иудаистская) уничтожили православных гоев (то есть не евреев)». Автор называет имена этих братьев-хасидов: Урицкий, Каганович, Мехлис, Ягода, Берия и др. Автор заявляет: «Славные сыны Израиля: Троцкий, Свердлов, Роза Люксембург, Мартов, Володарский, Литвинов — вошли в историю Израиля. Может, кто-нибудь из моих братьев спросит: «Что они сделали для Израиля?» Я отвечу прямо: они непосредственно или посредственно старались уничтожить наших наибольших врагов — православных гоев. Вот в чем заключалась их работа. Этим они заслужили вечную славу». Кстати, монархист Шульгин, исследуя подобные вопросы, о которых мы говорили, не находил подтверждений вот этой «концепции» заговора.

И. Шафаревич: Вот видите, чрезвычайный уровень возбуждения, фантазия у людей может проявляться в чем угодно. И в этом смысле мы находимся в такой большой опасности, что возникает сплошной туман мифов, в котором мы и друг друга увидеть не сможем. Анатоль Франс очень любил иронически использовать такую цитату из Гомера:

Зевс самодержец, спаси нас от
гиблого мрака,
Свет нам пролей, чтоб могли
мы видеть глазами,
И хоть при свете губи нас,
если уж так порешил.

Мы тоже можем оказаться в положении людей, которые в тем-

ноте друг друга дубасить начинают. Потому что мы можем друг друга засыпать любыми, совершенно фантастическими предположениями.

Корреспондент: Игорь Ростиславович, давайте отойдем от всех фантастических предположений. Мы говорим о будущем России, для выхода из той ситуации, в которой оказалось все наше общество, пожалуй, был бы интересен ваш взгляд на положение, которого придерживаются некоторые патриоты: только в объединении с русскими, живущими за рубежом, можно решить наши нынешние проблемы.

И. Шафаревич: Нам не поможет никакое объединение. Мы только сами себе можем помочь. Мне вообще неясен этот лозунг — «Русские всех стран, соединяйтесь», что это значит? Контакты с русскими, детьми эмигрантов?

Ну, конечно, если у них есть симпатия к России, они приезжают сюда, естественно, их следует дружелюбно встречать. А если они могут оказать какую-то помощь, то надо с благодарностью помощь принять. Но этот фактор, конечно, решающим никогда не может быть. Только внутреннее развитие страны поможет решить ее судьбу. Другая сторона — в более узком смысле «Русские всех республик СССР...». Ведь, действительно, очень много русских живет вне РСФСР. Вот это более реальное дело. Но в любом случае только, конечно, живущие здесь русские могут реально решить судьбу России.

Корреспондент: Только сплочение выведет нас из тупика... Однако вы тоже, наверное, обратили на это внимание, некоторые тратят свою энергию лишь на выяснение того, «истинный» ли он русский, размахивают этим понятием, словно каким-то лозунгом.

И. Шафаревич: Это вообще нетактично говорить — «истинный», «не истинный». И совершенная бессмыслица о проверке русской крови, ее и нельзя проверить. Для того, чтобы ее проверить, нужно создать новый сверхотдел кадров, сверхКГБ, которые возьмут власть, в конце концов, в свои руки. И не русские, и не сверхрусские будут править, а именно специалисты по установлению, кто русский, а кто не русский. Они и будут решать все проблемы. Все это бессмыслица, конечно.

Корреспондент: А что вы сами вкладываете в понятие «русский человек»?

И. Шафаревич: Вы знаете, приходил ко мне один человек. Он сказал, что он израильский дипломат, приходил по поводу моих статей поговорить. Странным образом разговор кончился тем, что он сказал: «Мне кажется, что у нас с вами совпадают в основном точки зрения». И он мне сообщил еще вот что: у нас, говорит, есть такая концепция, что значит еврей? Еврей — это человек, который ведет себя как еврей, который реагирует на все как еврей. Вот, мне кажется, это правильная точка зрения, она относится к любому другому народу. Видите, весь мир состоит из замечательного поразительного со-

четания духа и материи. И понятие «национальность», оно материально и духовно. В нем, мне кажется, доминирует духовная сторона. Это то, что человек ощущает себя, например, русским, что для него не безразлично то, что происходит в России. Каким-то образом, конечно, влияет на это и его происхождение. Но сколько мы знаем людей, в которых ни капли не было русской крови и которые очень много сделали для России, обогатили русскую культуру, сделались русскими.

Корреспондент: В начале нашего разговора вы высказали мысль о том, что сегодня необходимо пользоваться той мудростью, которая накоплена была веками человеческой историей. Однако как объяснить тот факт, что, например, наша русская философская мысль, наши русские мыслители не смогли в момент самых тяжких для народа испытаний помочь осмыслить положение, в котором мы все оказались?

И. Шафаревич: Меня тоже всегда поражало то, насколько наша русская философия оказалась беспомощной перед тем колоссальным явлением, которое разверзлось перед ее глазами перед революцией. Наиболее тонкие представители ее, пожалуй, чувствовали свою беспомощность в этом вопросе. Смотрите, в 1917-м или 1918 году была написана одна мудрая книга отца Сергия Булгакова «Свет Невечерний», и в этой книге только по одному примечанию можно было определить, что она написана в тот момент, когда у нас разразилась революция. Там такие тонкие богословские вопросы обсуждаются, видно было, что наша философия была неадекватна тем историческим пластам, которые поднялись, вздыбились...

Пожалуй, это был показатель того, что старые приемы осмысления мира оказались просто недействительными. И вот в те годы возникла потребность в создании новой системы миропонимания. Эта задача не снята и сегодня.

Корреспондент: История не просчитывается, ответить на вопрос, что ждет нас впереди, невозможно. Но нынешние задачи, мне кажется, всем сейчас понятны: необходимо заложить основы нового общества, справедливого, гуманного.

И. Шафаревич: Нужно создать основы общества, которое сможет существовать века. Необходима другая система ценностей, при которой люди смогут жить в согласии с природой, другой более яркой духовной жизнью, материально скромной, но приносящей удовлетворение.

Корреспондент: И, продолжая вашу мысль, хочется закончить эту беседу отрывком из вашей статьи: «Все человечество зашло сейчас в тупик, стало очевидно, что цивилизация, основанная на идеологии «прогресса», приводит к противоречиям, которых эта цивилизация не может разрешить. И кажется, что путь воскресения России тот же, на котором человечество может найти выход из тупика, найти спасение от бессмысленной гонки индустриального общества, культа власти,

мрака неверия. *Мы первыми* пришли к точке, откуда видна единственность этого пути, от нас зависит вступить на него и показать его другим. Таким представляется мне возможная миссия России, та цель, которая может оправдать ее дальнейшее существование...

Прошедшие полвека обогатили нас опытом, которого нет ни у одной страны мира. Одно из самых древних религиозных представлений заключается в том, что для приобретения сверхъестественных сил надо побывать в другом мире, пройти через смерть. Так объясняли происхождение предсказателей, пророков:

Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал...

Таково сейчас положение России: она прошла через смерть и может услышать голос Бога. Но Бог творит историю руками людей, и это мы, каждый из нас может услышать Его голос. А может, конечно, и не услышать. И остаться трупом в пустыне, которая покроет развалины России.

Беседу вел журналист
Александр Шахматов

Н. А. Соколов

УБИЙСТВО ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

ШВЕЙКИНА: «Я служила около 25 лет горничной в американской гостинице до занятия ее большевиками в начале июня прошлого года. После занятия гостиницы служащие, в числе их и я, остались на своих местах. В гостинице поселилась чрезвычайная комиссия и боевой отряд палачей-красноармейцев... В тех заседаниях, которые были важными (судя по их продолжительности), участвовали комиссары Белобородов, Голощекин, Чуцкаев, Жилинский и Юровский... За Юровским числился номер 3, но он в нем не жил, а только занимался. За Голощекиным числился номер 10, но жил он в нем лишь последние 4—5 дней перед эвакуацией».

Летом 1918 года в г. Алапаевске, Пермской губернии, находился в ссылке, в числе других лиц императорской фамилии, князь Иоанн Константинович со своей женой княгиней Еленой Петровной, королевной Сербской.

В июне месяце княгиня поехала в Екатеринбург, надеясь получить разрешение для поездки в Петроград к своим детям. Ее должны были сопровождать ее секретарь Смирнов, сербский майор Мичич и два сербских солдата Божничич и Абрамович.

7 июля все они были арестованы и отправлены в чека.

СМИРНОВ[1] показывает: «...В нашу комнату вошла группа чекистов с неизвестным мне лицом во главе, распоряжавшимся обыском. Это лицо обратило главное внимание на майора и само произвело у него личный обыск, обнаружив приемы опытного сыщика. Оно само ломало воротничок майора, осматривало тщательно подошвы его сапог и т. п. Красноармейцы, к которым я обратился с вопросом, сказали мне,

* Продолжение. Начало см.: «Сибирь» 1990, № 2—6, 1991, № 1.

[1] Свидетель С. Н. Смирнов был допрошен мною 16 марта 1922 года в г. Фонтенбло.

что человек этот Юровский, что он «комиссар дома Романовых».

20 июля узники были переведены в пермскую тюрьму. Это было ужасное время. Многие погибли, кто содержался здесь.

Смирнов показывает: «Голощекина я видел в пермской тюрьме. Я видел его раза два. В первый раз он был в тюрьме в сопровождении каких-то других комиссаров, обходил камеры, был и в нашей. Я положительно знаю, что в это посещение решался вопрос о том, кто будет расстрелян. Голощекин был главным лицом в этой комиссии. Во второй раз он был в нашей камере в сопровождении какого-то местного комиссара, и этот комиссар делал ему, Голощекину, доклад, какие арестанты и за что сидят. Он был главным лицом. Роль Юровского в областной чека была очевидна».

Откуда взялись те десять человек, которые составили новую внутреннюю охрану?

Якимов объяснил: «Юровский тогда же (в первый день прибытия в дом Ипатьева в качестве коменданта) спрашивал Медведева, кто несет охрану внутри дома, то есть на постах №№ 1 и 2. Узнав, что внутреннюю охрану несут эти самые «привилегированные» из партии Авдеева, Юровский сказал: «Пока несите эту охрану на этих постах вы, а потом я потребую к себе людей на эти посты из чрезвычайной комиссии». Я категорически утверждаю подлинность этих слов Юровского о людях из чрезвычайной комиссии. Действительно, через несколько дней эти люди из чрезвычайной следственной комиссии и прибыли в дом Ипатьева. Их было десять человек. Их имущество привозилось на лошади. Чья была эта лошадь, кто был кучер, не знаю. Но только всем тогда было известно, что прибыли эти люди из чрезвычайки, из американской гостиницы».

Обвиняемые Медведев, Якимов и Проскуряков называют этих людей «латышами».

В их устах это слово имеет, однако, несколько иной смысл.

Главную вооруженную силу большевиков в Сибири составляли латышские отряды и австро-немецкие пленные. Они держались замкнуто, отчужденно от русских красноармейцев.

Последние противопоставляли себя им и всех вообще нерусских большевиков называли латышами. Большевик Медведев, состоявший в сысертской партии, плативший даже партийные взносы, отнюдь не считал себя большевиком. Он называл большевиками людей нерусских.

Следствием удалось установить, что из этих десяти человек пятеро были нерусские и не умели говорить по-русски. Юровский, знавший немецкий язык, говорил с ними по-немецки.

На террасе ипатьевского дома, где был пост № 6, я обнаружил надпись на русском языке: «№ 6. Вергашъ карау... 1918. VII/15».

Кто-то стоявший на этом посту за сутки до убийства хотел увековечить свое имя, но запутался в слове «караулить».

Тогда он написал по-мадьярски:

Verhas Andras 1918 VII/15 e örsegen

Осматривая сад Ипатьева, я нашел здесь обрывок письма на мадьярском языке на имя «Терезочки». Его писал весной 1918 года охранник.

Экспертиза пришла к выводу, что это письмо писано мадьяризованным немцем.

Из остальных пяти один был русский и носил фамилию Кабанова. Другие четверо говорили по-русски, но их национальности я не знаю.

Помощник Юровского Никулин был, видимо, русский. Удалось точно установить, что он до переселения в дом Ипатьева жил в американской гостинице и был назначен чека, как и остальные десять человек.

В доме Ипатьева поселился отдел чека во главе с самым видным чекистом Юровским. Вот смысл перемены, происшедшей здесь в первых числах июля месяца.

Чем она была вызвана?

В мае месяце близкие царской семье Толстые послали в Екатеринбург своего человека Ивана Ивановича Сидорова.

Он отыскал доктора Деревенько, и тот сказал Сидорову, что царской семье живется худо: тяжелый режим, суровый надзор, плохое питание.

Они решили помочь семье и вошли в сношения: Сидоров — с Новотихвинским женским монастырем, а Деревенько — с Авдеевым.

Было налажено доставление семье разных продуктов из монастыря. Их носили послушницы Антонина и Мария. Они показали[1].

АНТОНИНА: «После того, как стал этот господин (Сидоров) к нам ходить, однажды пришел к нам доктор Деревенько. Я его видела сама. Он мне сказал, что у него, Деревенько, был разговор с комендантом ипатьевского дома Авдеевым и тот дозволил в этот дом царской семье разную провизию доставлять. Я знала, что Иван Иванович должен был идти к доктору Деревенько относительно царской семьи. Вот после этого Деревенько к нам и пришел. Ну, тут матушка Августина приказала нам с послушницей Марией идти в дом Ипатьева и нести туда четверть с молоком. Мы ее отнесли. Это было 5 июня по старому стилю. Потом мы так и стали носить разную провизию царской семье. Носили яйца по два десятка, сливки, сливочное масло, иногда мясо, колбасу, редис, огурцы, ботвинью, разные печенья (пироги, ватрушки, сухари), орехи. Как-то сам Авдеев сказал нам, что император нуждается в табаке. Так он и сказал тогда: «Император». Мы и табаку доставали и носили. Все от нас всегда принимал или Авдеев, или его помощник. Как, бывало, мы принесем провизию, часовой пустит нас за забор к крыльцу. Там позвонят, выйдет или Авдеев, или его помощник и все возьмут. Авдеев и его помощ-

[1] Свидетельницы послушницы Антонина и Мария допрошены мною 9 июля 1919 года в Екатеринбурге.

ник очень хорошо к нам относились, и никогда мы от них худого не слыхали. 22 июня (по старому стилю) мы принесли разную провизию. Ее от нас взяли. Кажется, помощник Авдеева взял, но тут заметно было, что у них смущение: брать или не брать. Мы ушли, но скоро нас догнали двое красноармейцев с винтовками, посланные из ипатьевского дома, и нас вернули назад. Там к нам вышел новый комендант, вот этот самый, карточку которого я вижу (предъявлена карточка Юровского), по фамилии, как потом узнали, Юровский, и строго нас спросил: «Это вам кто позволил носить?» Я сказала: «Носим по разрешению коменданта Авдеева и по поручению доктора Деревенько». Тогда он стал нам говорить: «А другим арестованным вы носите, которые в тюрьмах сидят?» Я ему отвечаю: «Когда просят, носим». Ну, больше ничего не было, и мы ушли. На другой день 23 и 24 июня мы опять носили провизию. Носили молоко в четверти и сливки в бутылке. 24, когда мы принесли молоко и сливки, Юровский опять к нам пристал: «Вы это что носите?» Мы говорим: «Молоко». — «А это что в бутылке? Тоже молоко? Это сливки». Ну, после этого мы и стали при Юровском носить только одно молоко. Так и носили до 4 июля по старому стилю... Носили мы царской семье провизию не в монастырском одеянии, а в вольном платье. Нам так доктор Деревенько сказал, а он об этом с Авдеевым уговорился. Авдеев и знал, что мы из монастыря носим, но никому, должно быть, из своих красноармейцев не сказывал».

МАРИЯ: «В прошлом году позвала меня матушка Августина к себе и приказала мне: «Надень светское! Будешь с Антониной молоко носить в ипатьевский дом». Тут сказала она, что царской семье это молоко пойдет. Светское я надела, Антонина тоже, и понесли мы молоко. Четверть понесли. А было это 5 числа июня месяца. Потом мы стали носить сливки, сливочное масло, редис, огурцы, ботвинью, разные печенья, иногда мясо, колбасу, хлеб. Все это брал у нас или Авдеев, или его помощник. За забор нас пустят, к крыльцу мы подойдем, часовой позвонит, выйдет Авдеев или его помощник, возьмут от нас провизию, и мы уйдем... Очень хорошо к нам Авдеев и его помощник относились. Так и носили мы провизию до 22 июня. 22 числа приносим. Какой-то, кажется, солдат взял у нас провизию, но какое-то смущение у них было, и что-то такое непонятное говорили: «Брать или не брать?» Взяли. Дорогой нас солдаты с винтовками догнали и назад вернули. Мы пришли. К нам вышел новый комендант, вот этот самый, который на карточке изображен (предъявлена карточка Юровского), Юровский по фамилии, и строго говорит нам: «Кто вам носить дозволил?» Мы отвечаем: «Авдеев приказал по распоряжению доктора Деревенько». А он говорит: «Ах, доктор Деревенько! Значит, тут и

доктор Деревенько!» Видать, он тут доктора Деревенько с Авдеевым в одном повинил, что оба они царской семье облегчение делали. А потом нас и спрашивает: «Вы откуда носите?» Ну, мы знали, что известно было Авдееву, кто мы такие и откуда носим. А тут скрываться, хуже, пожалуй, будет, мы и говорим: «С фермы носим». — «Да с какой фермы?» Мы и сказали: «С монастырской фермы». Юровский тут же наши имена записал. Ничего больше он нам не сказал. Запрещения не было носить, мы и на другой день снесли провизию и на третий день (24 июня по старому стилю) понесли. Тут нас Юровский спрашивает, на каком основании мы сливки носим. Мы говорим, что молоко носим, а не сливки (в отдельной бутылке), а что не было запрещения носить, кроме четверти, еще и бутылку. Он сказал, чтобы мы носили только одну четверть молока, а больше бы не смели носить. Мы стали носить одно молоко».

Скажут, что не царской семье шли продукты, а товарищу Авдееву. Я допускаю, что многое, может быть, не доходило до семьи. Но нет сомнения, что соглашение у Деревенько с Авдеевым было, и чекисты не знали об этом.

Обвиняемые Проскуряков и Якимов объяснили:

ПРОСКУРЯКОВ: «Я вполне сам сознаю, что напрасно я не послушался отца и матери и пошел в охрану. Я сам теперь сознаю, что нехорошее это дело сделали, что побили царскую семью, и я понимаю, что и я нехорошо поступил, что кровь убитых уничтожал. Я совсем не большевик и никогда им не был. Сделал я это по глупости и по молодости. Если бы я теперь мог чем помочь, чтобы всех тех, кто убивал, переловить, я бы все для этого сделал».

ЯКИМОВ: «Вы спрашиваете меня, почему я пошел караулить царя. Я не видел в этом тогда ничего худого. Как я уже говорил, я все-таки читал разные книги. Читал я книги партийные и разбирался в партиях. Я, например, знаю разницу между взглядами социалистов-революционеров и большевиков. Те считают крестьян трудовым элементом, а эти — буржуазным, признавая пролетариатом только одних рабочих. Я был по убеждениям более близок большевикам, но и я не верил в то, что большевикам удастся установить настоящую, правильную жизнь их путями, то есть насилием. Мне думалось и сейчас думается, что хорошая, справедливая жизнь, когда не будет таких богатых и таких бедных, как сейчас, наступит только тогда, когда весь народ путем просвещения поймет, что теперешняя жизнь не настоящая. Царя я считал первым капиталистом, который всегда будет держать руку капиталистов, а не рабочих. Поэтому я не хотел царя и думал, что его надо держать под стражей, вообще в заключении для охраны революции, но до тех пор, пока народ его не рассудит и не поступит

с ним по его делам: был он плох и виноват перед Родиной или нет. И если б я знал, что его убьют так, как его убили, я бы ни за что не пошел его охранять. Его, по моему мнению, могла судить только вся Россия, потому что он был царь всей России. А такое дело, какое случилось, я считаю делом нехорошим, несправедливым и жестоким. Убийство же всех остальных из его семьи еще и того хуже. За что же убиты были его дети? А так, я еще должен сказать, что пошел я на охрану из-за заработка. Я тогда был все нездоров и больше поэтому пошел: дело нетрудное... Я никогда, ни одного раза не говорил ни с царем, ни с кем-либо из его семьи. Я с ними только встречался. Однако эти молчаливые встречи с ними не прошли для меня бесследно. У меня создалось в душе впечатление от них ото всех.

Царь был уже не молодой. В бороде у него пошла седина... Глаза у него были хорошие, добрые... Вообще он на меня производил впечатление, как человек добрый, простой, откровенный, разговорчивый. Так и казалось, что вот-вот он заговорит с тобой и, как мне казалось, ему охота было поговорить с нами.

Царица была, как по ней заметно было, совсем на него не похожая. Взгляд у нее был строгий, фигура и манеры были, как у женщины гордой, важной.

Мы, бывало, в своей компании разговаривали про них, и все мы думали, что Николай Александрович простой человек, а она не простая, и, как есть, похожа на царицу. На вид она была старше его. У нее в висках была заметна седина, лицо у нее было уже женщины не молодой, а старой. Он перед ней означался моложе.

Такая же, видать, как царица, была Татьяна. У нее был вид такой же строгий и важный, как у матери. А остальные дочери Ольга, Мария и Анастасия важности никакой не имели. Заметно по ним было, что были они простые и добрые. Наследник был все время болен, ничего про него я сказать вам не могу...

От моих мыслей прежних про царя, с какими я шел в охрану, ничего не осталось. Как я их своими глазами поглядел несколько раз, я стал душой к ним относиться совсем по-другому: мне стало их жалко...

Раньше, как я поступил в охрану, я, не видя их и не зная их, тоже и сам перед ними несколько виноват. Поют, бывало, Авдеев с товарищами революционные песни, ну, и я маленько подтяну, бывало, им. А как я разобрался, как оно и что, бросил я все это, и все мы, если не все, то многие, Авдеева за это осуждали...»

Не сомневаюсь: общение с царем и его семьей что-то пробудило в пьяной душе Авдеева и его товарищей. Это было замечено. Их выгнали, а всех остальных отстранили от внутренней охраны.

Семья была окружена чекистами. Это было уже приготовлением к убийству.

Царская семья была в доме Ипатьева до ночи на 17 июля

Оно случилось в ночь на 17 июля.

Чем устанавливается, что царская семья была в доме Ипатьева до этой роковой ночи?

Священник Сторожев[1] показывает: «В воскресенье 20 мая (2 июня) я совершил очередную службу — раннюю литургию — в Екатерининском соборе и только что, вернувшись домой около 10 часов утра, расположился пить чай, как в парадную дверь моей квартиры постучали. Я сам открыл дверь и увидел перед собой какого-то солдата, невзрачной наружности, с рябоватым лицом и маленькими бегающими глазками. Одет он был в ветхую телогрейку защитного цвета, на голове затасканная солдатская фуражка. Ни погон, ни кокарды, конечно, не было. Не видно было на нем и никакого вооружения. На мой вопрос, что ему надо, солдат ответил: «Вас требуют служить к Романову». Не поняв, про кого идет речь, я спросил: «К какому Романову?» — «Ну, к бывшему царю», — пояснил пришедший. Из последующих переговоров выяснилось, что Николай Александрович Романов просит совершить последование обедницы. «Он там написал, чтобы служили какую-то обедницу», — заявил мне пришедший... Выразив готовность совершить просимое богослужение, я заметил, что мне необходимо взять с собою диакона. Солдат долго и настойчиво возражал против приглашения о. диакона, заявляя, что «комендант» приказал позвать одного священника, но я настоял, и мы вместе с этим солдатом поехали в собор, где я, захватив все потребное для богослужения, пригласил о. диакона Буймирова, с которым в сопровождении того же солдата поехали в дом Ипатьева. С тех пор, как здесь была помещена семья Романовых, дом этот обнесли двойным дощатым забором. Около первого верхнего деревянного забора извозчик остановился. Впереди прошел сопровождающий нас солдат, а за ним мы с диаконом. Наружный караул нас пропустил; задержавшись на короткий срок около запертой изнутри калитки, выходящей в сторону дома, принадлежавшего ранее Соломирскому, мы вошли внутрь второго забора, к самым воротам дома Ипатьева. Здесь было много вооруженных ружьями молодых людей, одетых в общегражданское платье, на поясах у них висели ручные бомбы. Эти вооруженные несли, видимо, караул. Провели нас через ворота во двор и отсюда через боковую дверь внутрь

---

[1] Свидетель о. Сторожев был допрошен членом суда Сергеевым 8—10 октября 1918 года в Екатеринбурге.

нижнего этажа дома Ипатьева. Поднявшись по лестнице, мы вошли наверх к внутренней парадной двери, а затем через прихожую в кабинет (налево), где помещался комендант. Везде, как на лестницах, так и на площадках, а равно и в передней, были часовые — такие же вооруженные ружьями и ручными бомбами молодые люди в гражданском платье. В самом помещении коменданта мы нашли каких-то двоих людей, средних лет, помнится, одетых в гимнастерки. Один из них лежал на постели и, видимо, спал, другой молча курил папиросы. Посреди комнаты стоял и стол, на нем — самовар, хлеб, масло. На стоявшем в комнате этой рояле лежали ружья, ручные бомбы и еще что-то. Было грязно, неряшливо, беспорядочно. В момент нашего прибытия коменданта в этой комнате не было. Вскоре явился какой-то молодой человек, одетый в гимнастерку, брюки защитного цвета, подпоясанный широким кожаным поясом, на котором в кобуре висел большого размера револьвер; вид этот человек имел среднего «сознательного рабочего». Ничего яркого, ничего выдающегося, вызывающего ни в наружности этого человека, ни в последующем его поведении я не заметил. Я скорее догадался, чем понял, что этот господин и есть «комендант» дома особого назначения, как именовался у большевиков дом Ипатьева во время содержания в нем семьи Романовых. Комендант, не здороваясь и ничего не говоря, рассматривал меня (я его видел впервые и даже фамилии его не знал, а теперь запамятовал). На мой вопрос, какую службу мы должны совершить, комендант ответил: «Они просят обедницу». Никаких разговоров ни я, ни диакон с комендантом не вели, я лишь спросил, можно ли после богослужения передать Романову просфору, которую я показал ему. Комендант осмотрел бегло просфору и после краткого раздумья возвратил ее диакону, сказав: «Передать можете, но только я должен вас предупредить, чтобы никаких лишних разговоров не было». Я не удержался и ответил, что я вообще разговоров вести не предполагаю. Ответ мой, видимо, несколько задел коменданта, и он довольно резко сказал: «Да, никаких, кроме богослужебных разговоров».

Мы облачились с диаконом в комендантской, причем кадило с горящими углями в комендантскую принес один из слуг Романовых (не Чемодуров — я его ни разу не видел в доме Ипатьева, я познакомился с ним позднее, после оставления Екатеринбурга большевиками). Слуга этот высокого роста, помнится, в сером с металлическими пуговицами костюме... Итак, облаченные в священные ризы, взяв с собой все потребное для богослужения, мы вышли из комендантской в прихожую. Комендант сам открыл дверь, ведшую в зал, пропуская меня вперед, со мной шел диакон, а по-

следним вошел комендант. Зал, в который мы вошли, через арку соединялся с меньшим по размерам помещением — гостиной, где ближе к переднему углу я заметил приготовленный для богослужения стол. Но от наблюдения обстановки залы и гостиной я был тогда отвлечен, так как едва переступил порог залы, как заметил, что от окон отошли трое — это были Николай Александрович, Татьяна Николаевна и другая старшая дочь, но, которая именно, я не успел заметить. В следующей комнате, отделенной от залы, как я уже объяснил, аркой, находилась Александра Федоровна, две младшие дочери и Алексей Николаевич. Последний лежал в походной (складной) постели и поразил меня своим видом: он был бледен до такой степени, что казался прозрачным, худ и удивил меня своим большим ростом. В общем, вид он имел до крайности болезненный, и только глаза у него были живые и ясные, с заметным интересом смотревшие на меня, нового человека. Одет он был в белую нижнюю рубашку и покрыт до пояса одеялом. Кровать его стояла у правой от входа стены, тотчас за аркой. Около кровати стояло кресло, на котором сидела Александра Федоровна, одетая в свободное платье, помнится, темно-сиреневатого цвета. Никаких драгоценных украшений на Александре Федоровне, а равно и на дочерях я не заметил. Обращал внимание высокий рост Александры Федоровны, манера держаться, манера, которую иначе нельзя назвать, как «величественной». Она сидела в кресле, но вставала (бодро и твердо) каждый раз, когда мы входили, уходили, а равно и когда по ходу богослужения я преподавал «мир всем», читал Евангелие, или мы пели наиболее важные молитвословия. Рядом с креслом Александры Федоровны, дальше по правой стене стали обе младшие дочери, а затем сам Николай Александрович; старшие дочери стояли в арке, а отступя от них, уже за аркою, в зале стояли высокий пожилой господин и какая-то дама (мне потом объяснили, что это был доктор Боткин и состоявшая при Александре Федоровне девушка). Еще позади стояло двое служителей: тот, который принес нам кадило, и другой, внешнего вида которого я не рассмотрел и не запомнил. Комендант стоял все время в углу залы около крайнего дальнего окна на весьма, таким образом, порядочном расстоянии от молящихся. Более решительно никого в зале и в комнате за аркой не было.

Николай Александрович был одет в гимнастерке защитного цвета, таких же брюках при высоких сапогах. На груди у него был офицерский Георгиевский крест. Погон не было. Все четыре дочери были, помнится, в темных юбках и простеньких беленьких кофточках. Волосы у всех у них были острижены сзади довольно коротко, вид они имели бодрый, я бы даже сказал, почти веселый.

Николай Александрович про-

извел на меня впечатление своей твердой походкой, своим спокойствием и особенно манерой пристально и твердо смотреть в глаза. Никакой утомленности или следов душевного угнетения я в нем не приметил. Показалось мне, что у него в бороде едва заметные седые волосы (борода, как я был в первый раз, была длиннее и шире, чем 1 (14) июля, тогда мне показалось, что Николай Александрович постриг кругом бороду).

Что касается Александры Федоровны, то у нее из всех вид был какой-то утомленный, скорее, даже болезненный. Я забыл отметить то, что всегда особенно останавливало мое внимание — это та исключительная — я прямо скажу — почтительность к носимому мною священному сану, с которой отдавали каждый раз поклон все члены семьи Романовых в ответ на мое молчаливое им приветствие при входе в зал и затем по окончании богослужения.

Став на свое место перед столом с иконами, мы начали богослужение, причем диакон говорил прошения ектении, а я пел. Мне подпевали два женских голоса (думается, Татьяна Николаевна и еще кто-то из них), порой подпевал низким басом и Николай Александрович (так, он пел, например, «Отче наш» и друг.). Богослужение прошло бодро и хорошо, молились они очень усердно. По окончании богослужения я сделал обычный отпуск со Святым Крестом и на минуту остановился в недоумении: подходить ли мне с Крестом к молившимся, чтобы они приложились, или этого не полагается, и тогда бы своим неверным шагом я, быть может, создал бы в дальнейшем затруднения в разрешении семье Романовых удовлетворять богослужением свои духовные нужды. Я покосился на коменданта, что он делает и как относится к моему намерению подойти с Крестом. Показалось мне, что и Николай Александрович бросил быстрый взгляд в сторону коменданта. Последний стоял на своем месте в дальнем углу и спокойно смотрел на меня. Тогда я сделал шаг вперед, и одновременно твердыми и прямыми шагами, не спуская с меня пристального взора, первым подошел к Кресту и поцеловал его Николай Александрович, за ним подошла Александра Федоровна, все четыре дочери, а к Алексею Николаевичу, лежавшему в кровати, я подошел сам. Он на меня посмотрел такими живыми глазами, что я подумал: «Сейчас он непременно что-нибудь да скажет», но Алексей Николаевич молча поцеловал Крест. Ему и Александре Федоровне диакон дал по просфоре. Затем подошли к Кресту доктор Боткин и названные служащие — девушка и двое слуг.

30 июня (13 июля) я узнал, что на другой день 1(14) июля — воскресенье — о. Меледин имеет служить в доме Ипатьева литургию что о сем он уже предупрежден от коменданта, а комендантом в то время состоял известный своею жестокостью не-

кий Юровский — бывший военный фельдшер.

Я предполагал заменить о. Меледина по собору и отслужить за него литургию 1(14) июля.

Часов в 8 утра 1(14) июля кто-то постучал в дверь моей квартиры, я только что встал и пошел отпереть. Оказалось, явился опять тот же солдат, который и в первый раз приезжал звать меня служить в доме Ипатьева. На мой вопрос: «Что угодно?» — солдат ответил, что меня комендант «требует» в дом Ипатьева, чтобы служить обедницу. Я заметил, что ведь приглашен о. Меледин, на что явившийся солдат сказал: «Меледин отменен, за вами прислано». Я не стал расспрашивать и сказал, что возьму с собой диакона Буймирова — солдат не возражал — и явлюсь к десяти часам. Солдат распростился и ушел, я же, одевшись, направился в собор, захватил здесь все потребное для богослужения и в сопровождении о. диакона Буймирова в 10 часов утра был уже около дома Ипатьева. Едва мы переступили калитку, как я заметил, что из окна комендантской на нас выглянул Юровский. (Юровского я не знал, видел лишь его как-то раньше ораторствующим на площади).

Когда мы вошли в комендантскую комнату, то нашли здесь такой же беспорядок, пыль и запустение, как и раньше; Юровский сидел за столом, пил чай и ел хлеб и с маслом. Какой-то другой человек спал одетый на кровати. Войдя в комнату, я сказал Юровскому: «Сюда приглашали духовенство, мы явились, что мы должны делать?» Юровский, не здороваясь и в упор рассматривая меня, сказал: «Обождите здесь, а потом будете служить обедницу». Я переспросил: «Обедню или обедницу?» — «Он написал обедницу», — сказал Юровский.

Мы с диаконом стали готовить книги, ризы и проч., а Юровский, распивая чай, молча рассматривал нас и, наконец, спросил: «Ведь ваша фамилия С-с-с», — протянул начальную букву моей фамилии, тогда я сказал: «Моя фамилия Сторожев». — «Ну, да, — подхватил Юровский. — Ведь вы уже служили здесь». — «Да, — отвечаю, — служил». — «Ну, так вот и еще раз послужите».

В это время диакон, обращаясь ко мне, начал почему-то настаивать, что надо служить не обедню, а обедницу. Я заметил, что Юровского это раздражает и он начинает метать на диакона свои взоры. Я поспешил прекратить это, сказав диакону, что и везде надо исполнять ту требу, о которой просят, а здесь, в этом доме надо делать, о чем говорят. Юровский, видимо, удовлетворился. Заметив, что я зябко потираю руки, Юровский спросил с оттенком насмешки, что такое со мной. Я ответил, что недавно болел плевритом и боюсь, как бы не возобновилась болезнь. Юровский начал высказывать свои соображения по поводу лечения плеврита и сообщил, что у него самого был процесс в легком. Обменялись мы и еще какими-то

фразами, причем Юровский держал себя безо всякого вызова и вообще был корректен с нами. Когда мы облачились и было принесено кадило с горящими углями (принес какой-то солдат), Юровский пригласил нас пройти в зал для служения. Вперед в зал прошел я, затем диакон и Юровский. Одновременно из двери, ведущей во внутренние комнаты, вышел Николай Александрович с двумя дочерьми, но которыми именно, я не успел рассмотреть. Мне показалось, что Юровский спросил Николая Александровича: «Что, у вас все собрались?» Николай Александрович ответил твердо: «Да, все».

Впереди за аркой уже находилась Александра Федоровна с двумя дочерьми и Алексеем Николаевичем, который сидел в кресле-каталке, одетый в куртку, как мне показалось, с матросским воротником. Он был бледен, но уже не так, как при первом моем служении, вообще глядел бодрее. Более бодрый вид имела и Александра Федоровна, одетая в то же платье, как и 20 мая (старого стиля). Что касается Николая Александровича, то на нем был такой же костюм, что и в первый раз. Только я как-то не могу ясно себе представить, был ли на этот раз на груди его Георгиевский крест. Татьяна Николаевна, Ольга Николаевна, Анастасия Николаевна и Мария Николаевна были одеты в черные юбки и белые кофточки. Волосы у них на голове (помнится, у всех одинаково) подросли и теперь доходили сзади до уровня плеч.

Мне показалось, что как Николай Александрович, так и все его дочери на этот раз были — я не скажу: в угнетении духа, но все же производили впечатление как бы утомленных. Члены семьи Романовых и на этот раз разместились во время богослужения так же, как и 20 мая ст. ст. Только теперь кресло Александры Федоровны стояло рядом с креслом Алексея Николаевича — дальше от арки, несколько позади его; позади Алексея Николаевича стояла Татьяна Николаевна (она потом подкатила его кресло, когда после богослужения они прикладывались к Кресту), Ольга Николаевна и, кажется, (я не запомнил, которая именно), Мария Николаевна. Анастасия Николаевна стояла около Николая Александровича, занявшего обычное место у правой от арки стены.

За аркой в зале стояли доктор Боткин, девушка и трое слуг: высокого роста, другой низенький полный и третий молодой мальчик. В зале у того же дальнего угольного окна стоял Юровский. Больше за богослужением в этих комнатах никого не было.

По чину обедницы положено в определенном месте прочесть молитву «Со Святыми упокой». Почему-то на этот раз диакон вместо прочтения запел эту молитву, стал петь и я, несколько смущенный таким отступлением от устава, но едва мы запели, как я услышал, что стоявшие позади

меня члены семьи Романовых опустились на колени...

После богослужения все приложились к Св. Кресту, причем Николаю Александровичу и Александре Федоровне о. диакон вручил по просфоре (согласие Юровского было заблаговременно дано).

Когда я выходил и шел очень близко от бывших великих княжен, мне послышалось едва уловимое слово: «Благодарю», — не думаю, чтобы это мне только показалось.

Молча мы дошли с о. диаконом до здания художественной школы, и здесь вдруг диакон сказал мне: «Знаете, о. протоиерей, у них там что-то случилось». Так как в этих словах о. диакона было некоторое подтверждение вынесенного мною впечатления, то я даже остановился и спросил, почему он так думает. «Да, так, — говорит диакон.— Они все какие-то другие, даже и не поет никто». А надо сказать, что действительно за богослужением 1/14 июля впервые никто из семьи Романовых не пел вместе с нами».

В понедельник 15 июля от профессионального союза были посланы женщины мыть в ипатьевском доме полы. Удалось допросить двух: Стародумову и Дрягину. Они показали:

СТАРОДУМОВА[1]: «Если не ошибаюсь, в понедельник 15 июля сего года от союза послали четырех женщин мыть полы в доме, где жил государь с семьей... От дома Ипатьева нас послали в дом Попова, где жила государева стража. Здесь начальник караула Медведев приказал нам вымыть полы в помещении команды, а потом повел нас в дом Ипатьева, который назывался домом особого назначения. Нас провели во двор и по лестнице, идущей из нижнего этажа в верхний, нас пропустили в верхний этаж, где жил царь со своей семьей. Я лично мыла полы почти во всех комнатах, отведенных для царской семьи; в помещении коменданта мы полов не мыли. При нашем появлении в доме государь, государыня и все дети были в столовой... Княжны помогали нам убирать и передвигать в их спальне постели и весело между собой разговаривали. Мы сами ни с кем из царской семьи не разговаривали; почти все время за нами присматривал комендант Юровский. Я видела, что он сидел в столовой и разговаривал с Наследником, справляясь об его здоровье».

ДРЯГИНА: «Я тоже мыла полы в доме Ипатьева вместе с Марией Стародумовой и другими женщинами. Было это, насколько помню, в понедельник 15 июля с. г.; в дом нас провел разводящий Павел Медведев. В доме я видела государя, государыню, наследника, четырех княжен, доктора и какого-то старичка. Наследник сидел в креслеколяске; княжны были веселы и

---

[1] Свидетельницы М. Г. Стародумова и В. О. Дрягина были допрошены членом суда Сергеевым 11 ноября 1918 г. в Екатеринбурге.

помогали нам переставлять в их комнате постели».

Охранники Проскуряков, Летемин и Якимов объяснили:

ПРОСКУРЯКОВ: «В последний раз я видел всю царскую семью, кроме государыни, за несколько дней до их убийства. Они тогда все гуляли в саду и гуляли, как есть, все, кроме государыни. Значит, тут были сам государь, сын, дочери: Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия; тут же был доктор, лакей, повар, горничная и мальчик... В какой именно день это было, я не могу помнить, но было это незадолго до их смерти».

ЛЕМЕТИН: «16 июля я дежурил на посту № 3 (во дворе у калитки), с 4 часов дня до 8 часов вечера, и помню, что, как только я вышел на дежурство, б. царь и его семья возвращались с прогулки, ничего особенного в этот раз я не заметил».

ЯКИМОВ: «Последний раз я видел царя и дочерей 16 июля. Они гуляли в саду в 4 часа дня. Видел ли я в этот раз наследника, не помню. Царицы я не видел. Она тогда не гуляла».

Верхний этаж в доме Ипатьева в описании судебного следователя Наметкина

При осмотре Наметкиным ипатьевского дома присутствовали доктор Белоградский и гвардии капитан Малиновский. Они показали[1]:

БЕЛОГРАДСКИЙ: «Общее впечатление, какое оставлял тогда дом Ипатьева, было вот какое: дом брошен хозяевами; хозяев нет в доме; в нем хозяйничали чужие люди, уничтожившие в печах разные мелкие по величине вещи царской семьи; лишь немногие вещи уцелели из мелочи».

МАЛИНОВСКИЙ: «Не было в доме никаких вещей из одежды и обуви. Мы вытаскивали мусор из печей. Печи были набиты золой от сгоревших вещей. Мы просевали пепел. Установить главную массу сгоревших вещей мы не могли: вещи превратились в золу, но иногда можно было понять, что зола представляла сожженную ткань одежды. Это прямо бросалось в глаза. Много было сожжено портретных рамок, всевозможных вещей домашнего обихода, вещей из хорошей обстановки. Много было сожжено различных принадлежностей туалета: например, головных и зубных щеток. Много было обгорелого и

---

[1] Свидетели А. И. Белоградский и Д. А. Малиновский были допрошены мною: первый — 13 июня 1919 г., второй — 22 июля того же года в Екатеринбурге.

расплавленного стекла. Впечатление, какое я вынес из осмотра верхнего этажа дома, было то, что здесь, за отсутствием обитателей квартиры, все разгромили: сожгли преимущественно и бросили, оставив неуничтоженной мелочь».

Нижний этаж в доме Ипатьева в описании члена суда Сергеева

Доказано, что между 17 и 22 июля 1918 года, когда Ипатьев восстановил свое нарушенное владение домом, в нем произошло убийство.

Оно случилось не в верхнем этаже, где жила царская семья: нет и намека, что здесь комулибо было причинено насилие.

Кровавая бойня свершилась в одной из комнат нижнего, подвального этажа.

Один выбор этой комнаты говорил сам за себя: убийство было строго обдумано.

Из нее нет спасения: за ней глухая кладовая без выхода; ее единственное окно с двойными рамами покрыто снаружи толстой железной решеткой. Она сильно углублена в землю и вся закрыта снаружи высоким забором. Эта комната — в полной мере застенок.

Убивали из револьверов и штыком.

Было сделано свыше 30 выстрелов, так как нельзя допустить, чтобы все попадания были сквозными, и пули не остались бы в телах жертв.

Было убито несколько человек, так как нельзя представить, чтобы одно лицо могло так менять свое положение в комнате и подвергаться столь многим попаданиям.

Одни из жертв находились перед смертью вдоль восточной и южной стен, другие ближе к середине комнаты. Некоторые добивались, когда лежали уже на полу.

Если здесь была убита царская семья и жившие с ней, нет сомнения, что из своего жилища она была заманена сюда под каким-то лживым предлогом.

Наш старый закон называл такие убийства «подлыми».

Вещи царской семьи, обнаруженные в Екатеринбурге и его окрестностях

Кто же был убит в доме Ипатьева?

Как только судебный следователь Наметкин вошел сюда,

возникла легенда: царскую семью увезли и спасли, а вместо нее, чтобы скрыть ее спасение, расстреляли других людей.

Камердинер Чемодуров показал на следствии: «Из вещей государя я уложил и привез в Екатеринбург следующие: одну дюжину денных рубах, $1\frac{1}{2}$ ночных, $1\frac{1}{2}$ дюжины тельных шелковых рубах, 3 дюжины носков, штук 150—200 носовых платков, 1 дюжину простынь, 2 дюжины наволок, 3 мохнатых простыни, 12 полотенцев личных и 12 полотенцев ярославского холста; из одежды четыре рубахи защитного цвета, 3 кителя, 1 пальто офицерского сукна, 1 короткую шубку из романовских овчин, пять шаровар, одну серую накидку, 6 фуражек, 1 шапку, из обуви семь пар шевровых и хромовых сапог».

Куда девалось все это?

Было бы естественно думать: все подобные вещи увезли те, кто позаботился о семье.

Так ли это?

Неумолимые факты говорят иное.

В доме Ипатьева было найдено много лекарств и различных принадлежностей для лечения наследника цесаревича. Мальчик все время болел здесь. Почему же не взяли и бросили на произвол судьбы самое ему нужное?

Найдено в ипатьевском доме свыше 60 икон царской семьи. Среди них:

1. Образ Богородицы с надписью на нем государыни: «Дорогой нашей Ольге благословение от Папа и Мама. Спала 3 ноября 1912 года».

2. Образ Богородицы с надписью государыни: «Дорогой Татьяне благословение на 12 января 1918 года. Тобольск. Папа и Мама». Это был последний подарок Татьяне Николаевне от родителей в день ее ангела.

3. Два одинаковых образа Богородицы с надписями государыни на одном: «Т. Спаси и сохрани. Мама. Елка 1917 г. Тобольск», на другом: «А. Спаси и сохрани. Мама. Елка. 1917 г. Тобольск». Это были последние елочные подарки матери Татьяне Николаевне и Анастасии Николаевне.

4. Иконы Распутина с его надписями.

«Лествица», «О терпении скорбей», «Молитвослов», «Библия», Правило молитвенное готовящимся ко Святому Причащению», «Благодеяния Богоматери», «Письма о христианской жизни», «Житие и чудеса Святого Праведного Симеона Верхотурскаго», «Житие Преподобного Отца нашего Серафима Саровскаго», «Акафист Богородице», «Двенадцать Евангелий», «Моя жизнь во Христе», «Утешение в смерти близких сердцу», «Сборник благоговейных чтений», «Беседы о страданиях Филарета», «Канон Великий Андрея Критскаго», «Сборник служб, молитв и песнопений» — вот книги государыни и Татьяны Николаевны, брошенные в доме Ипатьева. В них — весь их моральный облик, вся их душа.

Многое разворовали охранники. Среди таких вещей дневник наследника, его любимая собака спаниель Джой.

Обгорелые остатки одежды и белья, пуговицы, иголки, нитки, принадлежности дамских рукоделий, остатки различных сумочек, партмоне, шкатулочек, всевозможных щеток и т. п. — вот чем были набиты печи дома Ипатьева.

А в мусорной яме было найдено:

1. Офицерская кокарда и ленточка Святого Георгия. Чемодуров показал: «Георгиевская ленточка снята с шинели государя императора, с этой шинелью государь никогда не расставался и всегда в ней ходил».

2. Образ Святого Серафима Саровского и образ Святого Симеона Верхотурскаго, принадлежавшие государыне.

3. Портретная рамочка и рамочка брелок с остатками уничтоженных фотографических карточек: портретов родителей и брата государыни.

4. Сильно изуродованная икона с надписью государыни: «Спаси и сохрани. Мама. 1917 г. Тобольск». Это был последний елочный подарок матери любимому сыну. Икона висела в Екатеринбурге у его постели.

Воровали ценное, нужное для обихода.

В апреле месяце 1919 года на территории Адмирала работала тайная большевистская организация. Она была раскрыта.

Участник организации красный офицер Логинов[1] показал у меня на допросе, что в ноябре месяце 1918 года ездил по делам организации в Москву.

С ним ездила заведывавшая у большевиков санитарным поездом женщина-врач Голубева и ее гражданский муж какой-то рабочий.

В Москве все они остановились в одной квартире. Ложась спать, Логинов, не имея подушки, попросил у Голубевой одну из ее подушек: «Она сказала, что не может дать подушку, потому что их с мужем двое. При этом она сказала, что одна из этих подушек «историческая». Я заинтересовался ее словами и попросил у нее объяснения, что это значит. Тогда она мне сказала, что подушку, которую она назвала исторической, ей дал Голощекин из числа других вещей царской семьи. Тогда же мне Голубева сказала, что из царских вещей у нее есть еще ботинки, которые ей дал также Голощекин. Подробно Голубева мне не говорила, где, когда и при каких обстоятельствах получила она их от Голощекина. Сказала только, что получить что-либо из царских вещей было очень трудно от Голощекина, что он давал их только «по протекции». Рассказ Голубевой внушал и сейчас внушает мне полное доверие. Голубева — известная большевичка, деятельная работница. Она-то именно и должна была получить от Голо-

---

[1] Свидетель С. Г. Логинов был мною допрошен 4 апреля 1919 г. в Екатеринбурге.

щекина что-либо из царских вещей по ее положению».

Что не имело материальной ценности, но было самым дорогим для семьи, уничтожали или, глумясь, бросали.

Едва ли не самым дорогим для императрицы предметом была ее икона Белоровской Божией Матери. Она найдена в доме Ипатьева. Ее бриллианты сорваны.

Чемодуров говорит: «Без этой иконы императрица никогда никуда не выезжала. Лишить императрицу этой иконы было бы равносильно лишить ее жизни».

Рудник в урочище Четырех Братьев

Я оставлю теперь дом Ипатьева и разгадку кровавой трагедии, что затаило в себе его подземелье, пойду искать в другом месте.

На берегу Исетского озера, в 20 верстах от Екатеринбурга, раскинулась в несколько десятков изб маленькая деревушка Коптяки. Вековая уральская глушь старым бором охватила ее и почти скрыла от человеческого взора. Она же установила и уклад жизни этой глухой деревушки: рыба и сенокосы — вот ее интересы в летнюю пору. Наезжают сюда по летам на дачи небогатые екатеринбургские чиновники, но они селятся в крестьянских избах и не портят общего колорита жизни.

Дорога, что ведет сюда из Екатеринбурга, проходит через Верх-Исетск, почти предместье города.

Сначала она идет за Верх-Исетском немного лугами, а затем входит в лес и беспрерывно идет до самых Коптяков.

Ближе к Верх-Исетску ее пересекает железная дорога на Пермь. Здесь имеется переезд № 803 с будкой для сторожа.

Ближе к Коптякам, в 9 верстах от деревни, дорогу пересекает «горно-заводская линия». Здесь находится переезд № 184 тоже с будкой для сторожа.

Приблизительно в $4^1/_2$ верстах от Коптяков почти у самой дороги сохранились два старых сосновых пня. По преданию, от них росли некогда четыре сосны. Они назывались в народе «Четырьмя Братьями». Это название перешло ко всему урочищу той местности.

В этом глухом урочище, в 4 верстах от Коптяков, к западу от дороги, имеется старый рудник. Наружными разработками и шахтами здесь некогда добывали железную руду. Это было давно. Многие годы был заброшен рудник, и за эти годы он сильно изменил свое лицо. Наружные разработки превратились в озера, шахты обвалились,

поросли травой и лесом.

Одна-единственная шахта сохранилась в хорошем состоянии, получив название «открытой».

Стенки шахты выложены прочными бревнами. Внутренняя стенка из таких же бревен делит ее на два колодца: через один спускались под землю люди и добывали там руду, через другой откачивалась вода.

Глубина шахты 5 сажен 7 вершков. Она всегда залита водой; под ней почти никогда не растаивает лед.

Когда разрабатывали шахту и выкидывали из нее глину, образовалась высокая глиняная площадка. Она почти со всех сторон окружает шахту и лишена всякой растительности.

Вблизи этой площадки растет старая береза.

Пять лесных дорожек ведут к руднику с большой коптяковской дороги. Они все сходятся у открытой шахты. Их так много потому, что некогда по ним возилась от разных шахт руда к коптяковской дороге. Эти дорожки — глухие, заброшенные; в летнюю пору они покрываются высокой травой.

На самой середине одной из этих дорожек, которая ближе всех к «Четырем Братьям», имеется яма. Здесь искали руду. Дорожка обходит эту яму с обеих сторон.

Между переездом № 184 и описанным рудником вдоль коптяковской дороги имеются и другие рудники.

Они ближе к Екатеринбургу. К ним гораздо легче подъехать, так как коптяковская дорога местами плоха для езды.

Но ни один из них не имеет других удобств, какими отличается рудник в урочище Четырех Братьев: он совершенно закрыт для постороннего взора густой чащей молодого леса; нигде нет такой удобной глиняной площадки, лишенной всякой растительности, и рядом с ней глубокой шахты.

17—18 июля на руднике

17 июля 1918 года, ранним утром, тихая жизнь Коптяков и покой глухого рудника были нарушены рядом чрезвычайно таинственных происшествий.

Настасье Зыковой понадобилось в это раннее утро ехать в Екатеринбург. Поехала она с сыном Николаем и его женой Марьей. Настасья везла продавать рыбу, а Николай призывался в Красную Армию.

Солнце еще не всходило. Был предутренний рассвет. Старый бор хранил тьму ночи.

Когда Зыковы проехали рудник и подъезжали к Четырем Братьям, навстречу им показался какой-то кортеж. Двигались телеги, шли пешие и конные красноармейцы. Как только Зыковы были замечены, к ним сейчас же подскакали двое верховых.

Вот образное показание Настасьи Зыковой[1]: «Нам навстречу двое верховых. Один был в мат-

[1] Свидетели Н. П. Зыкова и Н. С. Зыков были допрошены мною 27 мая и 29 июня 1919 года в Екатеринбурге.

росской одежде, и я его хорошо узнала. Это был верх-исетский матрос Ваганов. Другой был в солдатской одеже: в солдатской шинели и солдатской фуражке. Верховые скоро нам навстречу ехали: впереди Ваганов, а сзади солдат. Как только они к нам подъехали, Ваганов на нас и заорал: «Заворачивайтесь назад!» А сам вынул револьвер и держит у меня над головой. Лошадь мы быстро завернули, круто, чуть коробок (тележка) у нас не свалился. А они скачут около нас, и Ваганов орет: «Не оглядывайтесь, г. в... м... Застрелю!» Лошадь у нас сколько духу в ней было скакала. А они нас провожают, и Ваганов все револьвер у меня над головой держит и кричит: «Не оглядывайтесь, граждане, г. в... м..!» Так мы скакали до стлани, за которой Большой Покос. Там они нас провожали около полуверсты или трех четвертей версты, а потом отстали. Мы, конечно, назад не оглядывались, как только они нам это сказали... Что это такое было, я не поняла, а показалось мне, что идет войско. Приехали мы домой в Коптяки, рассказали народу, что видели. А потом что было, не знаю».

Зыковы были сильно напуганы. Их встретил на дороге кр-н Зворыгин[1], поехавший было в город следом за ними: «Проехали мы версты две от Коптяков, а нам навстречу гонит шибко Николай Зыков с матерью и женой и кричит: «Ой, дядя Федор, не езди! Там меня прогнали. Какой-то револьвером грозил и кричал: «Не оглядывайтесь».

В ужасе прискакали Зыковы в деревню и подняли большой переполох. Вот показание кр-на Алферова[2]: «После Петрова дня в среду рано утром я был на улице: хотел на покос идти. Гляжу я: едет по улице Николай Зыков в коробке с матерью и своей хозяйкой. Едет и кричит и рукой машет: «Убегайте! Убирайтесь из Коптяков! Там орудия везут, сюда войско идет». Тут он лошадь остановил. На его слова народ выбежал. Стали мы Николая допрашивать, что он такое говорит. Он нам стал сказывать и объяснил: «Только мы Большой Покос проехали, к Четырем Братьям стали подъезжать, а нам встречь трое верховых. Кричат: «Заворачивайтесь! Заворачивайтесь!» Я стал коробок заворачивать, а бабы назад оглядываются. Один кричит: «Не оглядывайтесь!» А там на дороге орудия везут. «Они шибко лошадь гнали, а те их даже проводили несколько по дороге и все не дозволяли им оглядываться. Тут мы и не знали, что подумать».

В те дни на Екатеринбург двигалась сибирская армия и угрожала господству большевиков. В Коптяках знали это и, притаясь, ждали развязки.

В то же время мужичий интерес властно пробуждал свои заботы.

---

[1] Свидетель Ф. П. Зворыгин был мною допрошен на месте (на руднике) 28 июня 1919 года.

[2] Свидетель Г. Е. Алферов был мною допрошен на месте 28 июня 1919 года.

Вот показание кр-на Швейкина[1]: «Мы, мужики, забеспокоились, Каждому надо на покос, а тут войско идет. Войско идет, значит, бой будет».

Решили узнать толком, что же происходит на коптяковской дороге, и послали в разведку кр-н Швейкина, Папина, Зубрицкого и скрывавшегося в Коптяках офицера Шереметевского[1].

Они пошли и недоумевали: в лесу было тихо, на коптяковской дороге пустынно.

Поругивая «за болтовню» Зыковых, разведчики прошли было рудник, как услышали там непривычное ржание множества коней. В этот момент они подошли к той дорожке-свертке, что первая от Четырех Братьев ведет к руднику. Эта дорожка поразила их своим видом.

Шереметевский и Папин показывают:

ШЕРЕМЕТЕВСКИЙ: «Эта дорожка, до того глухая, заросшая травой, как это обыкновенно бывает с заброшенными глухими лесными дорожками, была в тот момент накатана. По ней хорошо заметно было, что тут по этой свертке к руднику с коптяковской дороги какие-то экипажи проехали».

ПАПИН: «Трава по ней была прямо вся положена, и маленькие деревца были кое-где погнуты».

Хотели было пройти этой дорожкой к руднику, как по ней выехал оттуда красноармеец, вооруженный винтовкой, двумя револьверами, шашкой и гранатами. Он сказал, что на руднике будет происходить учение метанию бомб, и приказал им удалиться.

С этого момента было прекращено всякое движение по коптяковской дороге, и рудник был оцеплен заставами.

Но людской интерес делал свое дело. Многим нужно было поехать из Коптяков в Екатеринбург и обратно. Удалось точно установить и время, и место оцепления.

Движение по коптяковской дороге было прекращено рано утром 17 июля. Оно возобновилось с 6 часов утра 19 июля.

Застава со стороны Коптяков находилась приблизительно в одной версте от них.

Застава со стороны Екатеринбурга находилась вблизи проезда № 184.

Все эти дни на руднике были слышны взрывы гранат.

25 июля большевики бежали из Екатеринбурга.

27 июля крестьяне Папин и Михаил Алферов поехали по своим делам в город. Они заехали в Верх-Исетск и сообщили там военной власти про таинственное оцепление рудника.

Когда они ехали в этот день домой в Коптяки, их взяло любопытство: посмотреть, что происходило на руднике. Доехав до свертки, о которой говорилось выше, они оставили здесь своих лошадей и пошли по этой свертке пешком к руднику. Но едва

[1] Свидетели Н. М. Швейкин, Н. В. Папин, П. А. Зубрицкий и А. А. Щереметевский были допрошены мною на месте 9, 10 и 27 июня 1919 года.

они вышли туда, как их охватил безотчетный страх.

Папин показывает: «Стало тут нам почему-то жутко. Решили мы собраться как следует, народом, и идти. Тут же мы, ничего не трогая, ушли».

Утром 28 июля семь человек коптяковских крестьян: Николай Папин, Михаил Бабинов, Михаил Алферов, Павел Алферов, Яков Алферов, Николай Логунов и Александр Логунов — отправились на рудник[1]. Они пришли сюда пешком по дорожке, ближайшей к Коптякам. Внимательно они обследовали рудник и обнаружили ценные нахождения.

Они проявили величайшую осторожность и ничем не нарушили состояния той свертки, где произошла встреча красноармейца с разведчиками.

На заявление крестьян в Верх-Исетске обратили внимание. 28 июля вечером на рудник прибыл местный лесничий Редников с крестьянами: Николаем Божовым, Александром Зудихиным, Иваном Зубрицким и Николаем Тетеневым[3].

28 и 29 июля они обстоятельно исследовали и дорожку к руднику, ближайшую к Четырем Братьям, и самый рудник.

30 июля сюда прибыл судебный следователь Наметкин. С ним приехали доктор Деревенько, камердинер Чемодуров и многие офицеры. Были обнаружены некоторые ценные нахождения.

Внимание Наметкина привлекла открытая шахта. Она подвергалась исследованию под руководством товарища прокурора Магницкого.

Я осматривал рудник и окружающую его местность с 23 мая по 17 июня 1919 года.

Когда я доложил результаты следствия адмиралу Колчаку, он приказал вести раскопки. Они были начаты 6 июня и прерваны 10 июля.

Грузовой автомобиль на руднике. Серная кислота бензин

Что же происходило на руднике в эти дни 17—19 июля 1918 года?

Путевой сторож при переезде № 184 Яков Лобухин[2] показал:

«Как-то ночью летом прошлого года (не помню месяца и числа) во время сенокосов, когда я и семейные мои спали, я проснулся от шума автомобиля. Дело это было удивительное, потому что никогда раньше такого

[1] Свидетели М. И. Бабинов, М. Д. Алферов, П. Ф. Алферов были допрошены мною на месте 27 июня 1919 года.

[2] Свидетель Я. И. Лобухин был мною допрошен на месте 10 июля 1919 года.

[3] Свидетели В. Г. Редников, Н. Е. Божов, А. Р. Зудихин, И. С. Зубрицкий, Н. А. Тетенев были допрошены мною: первый — 4 авг. 1919 г., второй и третий — 5 того же августа и последние — 7 того же августа в г. Ишиме.

дела не бывало, чтобы автомобили мимо моей будки да еще по ночам ходили. Я в окно выглянул, вижу: идет по дороге к Коптякам грузовой автомобиль. Я не видел, что в нем было. Совсем я этого не заметил. Только заметил я, что сидело в нем человека четыре с винтовками, кажется, в солдатской одежде. Было это на рассвете... Тут день наступил. Народ, который ехал на Коптяки, не пропускают. Где у них стояла застава, точно не скажу, а сказывали, что от моего переезда за гатью или до гати. И не было пропуску дня три—четыре».

Ранним утром 17 июля было прекращено движение по коптяковской дороге. Нет сомнения, таинственный грузовой автомобиль прошел из Екатеринбурга к Коптякам под покровом ночи на 17 июля.

Он не приходил в Коптяки и скрывался где-то в лесу. Где был он?

Рудник в урочище Четырех Братьев был целью его достижения. Он пришел сюда по той самой свертке-дорожке, где произошла встреча красноармейца с разведчиками, и дошел до самой открытой шахты.

Почти тут же, как только прошел автомобиль, попала разведка на эту дорожку. Вот показание Швейкина: «Я очень даже хорошо могу сказать, что след был здоровенный и по коптяковской дороге, и по той свертке с коптяковской дороги, по которой к нам красноармеец выехал. След с коптяковской дороги так и пошел по этой свертке. Он хорошо был заметен по свертке. Видать было, что недавно, только что перед нами проехали. Я так определяю, что это был след от автомобиля: больно он был здоровый — и широкий, и глубокий и траву, как есть, всю по повертке в улок положил».

Следы автомобиля видели и другие крестьяне, пришедшие на рудник 28 июля. Вот показание Михаила Бабинова: «У шахты был след. Он, этот самый след, был на дорожке, которая идет сюда от Четырех Братьев. Я эту самую дорожку хорошо знаю. И вот я положительно говорю вам, что эта дорожка была очень сильно накатана, и трава по ней вся была положена в улок. В самой колее дорожки были следы колес каких-то экипажей, но тут же был и след автомобиля. Этот след был около колеи дорожки, но он был шире. Я этот след, впрочем, больше разглядывал на повороте автомобиля. Он пришел сюда, где открытая шахта, по дорожке и тут же на лужайке против шахты заворачивался назад. Вот на этом завороте я и видел его следы».

В тот же день был на руднике с другими крестьянами лесничий Редников. Они показали:

РЕДНИКОВ: «На состояние следов я тогда же обратил особое внимание. Совершенно ясно было видно, что сюда приходили автомобили. Не могу сказать, один или не один автомобиль сюда приходил, но следы автомобиля ясно совершенно видны на дорожке. Первая дорожка от

Четырех Братьев имела следы автомобиля, вот эта самая, которая изображена на предъявленном вами чертеже. Следы его были здесь совершенно ясные. Тяжелый автомобиль шел здесь, проложил громадный след, поломал и повывернул много молодых деревьев вдоль колей дороги... След автомобиля доходил до самой открытой шахты и здесь кончался».

ЗУБРИЦКИЙ: «Эта тропа (первая свертка от Четырех Братьев к руднику) была сильно проложена, малые деревца были поломаны. Видать, тут прошел тяжелый автомобиль и проложил по этой дорожке здоровый след. След этот шел до самой открытой шахты, которую я сейчас вижу на снимке».

Не стану утомлять внимания читателя: показания других крестьян тождественны.

30 июля на рудник прибыл судебный следователь по важнейшим делам Наметкин и г.г. офицеры, слушатели Академии Генерального Штаба.

У меня нет желания порочить кого-либо, но ведь все вправе ожидать, что судебный следователь в своем акте дал яркую картину состояния рудника и всех слёдов, какие здесь были, что я отражу все это в словах подлинного акта.

О них нет ни слова.

Произошла крайне досадная ошибка. Судебный следователь и г.г. офицеры не последовали примеру крестьян и пришли из Екатеринбурга на рудник по следам не разума, а своей и чужой фантазии. Они прибыли сюда не следами автомобиля, шедшего из города грунтовой дорогой, а по железной дороге и как раз с обратной стороны: от Коптяков.

Царская семья убита, и трупы ее скрыты на дне открытой шахты в урочище Четырех Братьев. Царская семья спасена. Убили каких-то других людей и трупы их скрыли в этой шахте.

Открытая шахта таит в себе все разрешение загадки. Решить ее не трудно. Нужно только опуститься на дно шахты.

Так было решено в Екатеринбурге. Поэтому Наметкин и г.г. офицеры сели в Екатеринбурге в поезд, доехали по горно-заводской линии до станции Исеть, оттуда в Коптяки и из Коптяков на рудник по дорожке-свертке, ближайшей к Коптякам.

Трупов не оказалось на дне шахты. Энергия быстро упала. Судебный следователь, пробыв $1^1/_2$ часа на руднике, уехал в город.

Получилось извращение правильного представления о местности. Дорожка, по которой пришел на рудник грузовой автомобиль, пропала для Наметкина.

Крестьяне осуждали интеллигентных людей и работу следователя. Михаил Алферов показал: «Комиссия тут везде ходила, но только видать было, что без толку. Следов не глядели, а что было, заминали».

Сергеев разделил ошибку Наметкина и ни одного раза не был на руднике.

Я пришел сюда пешком от

дома Ипатьева. Прошел досадный год. Но опыты прошлого учили меня осторожности: заминали, но, может быть, не все еще замяли.

Выше я говорил, что роковая дорожка, по которой пришел к руднику грузовой автомобиль, на самой середине имеет яму, где искали руду.

Это место приковало мое внимание.

Трудно здесь было идти автомобилю. Мешал лес. Автомобиль должен был жаться к яме и мог сорваться.

Он и срывался. На снимке этот срыв слегка заметен.

Тяжелое бревно лежало на дне ямы. На нем были странные вдавления: какие-то части чрезвычайно тяжелого предмета давили на бревно и оставили глубокие следы.

В стороне от дорожки я нашел в лесу три бревна и ложбинку от четвертого. Кто знаком с жизнью леса, тот знает, что бревно, лежащее многие годы, уходит постепенно в землю и надолго оставляет след своего логова. Отсюда и было взято бревно, оказавшееся в яме.

Когда и зачем принесли его сюда?

Лесничий Редников и крестьяне показали:

РЕДНИКОВ: «...Автомобиль сорвался около ямы при объезде ее с правой стороны, если идти к руднику. В этой яме на дне одним концом к срыву лежало бревно».

БОЖОВ: «На этой дорожке, посередине ее, ближе к шахте имеется яма. Я помню ее. На дне ее лежало бревно. Вдоль гребня этой ямы был срыв какого-то экипажа».

ТЕТЕНЕВ: «Мы шли туда первой сверткой к руднику от Четырех Братьев. Совершенно явственно было видно, что по этой свертке ходили автомобили и проложили здесь дорогу до самой открытой шахты. А в одном месте колесо автомобиля сорвалось. Это было около ямы, которая находится как раз на этой свертке. Автомобиль обходил яму, а так как места оставалось немного для обхода, то он и сорвался одним колесом. Срыв хорошо был виден. Я вижу предъявленный мне вами фотографический снимок этой ямы. Вот про нее и говорю».

Вблизи срыва я нашел у самой дорожки толстую веревку. Она была сильно загрязнена и пропитана какими-то минеральными маслами. Через год она еще грязнила и маслила руки.

Зачем бросили здесь веревку? Случайность?

Грузовой автомобиль ушел с рудника ночью на 19 июля.

Путевой сторож Лобухин и сын его Василий видели, как он шел через переезд в город. За переездом он застрял в болоте. Его вытаскивали и строили для него мостик.

Вот показание Василия Лобухина[1]: «Около 12 часов ночи по дороге из Коптяков прошел через наш переезд грузовой авто-

[1] Свидетель В. Я. Лобухин был мною допрошен на месте 10 июля 1919 года.

мобиль, должно быть, тот самый, который пришел из города ночью... Вместе с ним шло 10—12 коробков и, кажется, несколько дрог. Грузовой автомобиль, коробки и дроги проехали на город прямо от нашего переезда. Там в логу у них автомобиль застрял. Кто-то из них взял из нашей ограды шпал и набросал там мостик».

Только утром 19 июля мог проходить этот автомобиль через Верх-Исетск. Это так и было. Его видели в это время.

В каком он был виде?

Свидетели Николай и Александра Зубрицкие показали:

ЗУБРИЦКИЙ: «Одно колесо с левой стороны, не помню, какое именно, было, видимо, у него повреждено: обмотано веревками».

ЗУБРИЦКАЯ: «У него левое заднее колесо было обмотано толстой веревкой, видимо, шина была повреждена. Грузовой автомобиль, пройдя несколько, остановился. С него слезли какие-то люди и стали перевязывать веревкой завязанное колесо».

Нет, веревка на руднике не случайность.

Видела ли грузовой автомобиль, когда он шел к руднику, Настасья Зыкова?

Думаю, что сказать судебному следователю всю правду ей помешала не одна темнота ночи. Настасья лукавила. Я позволял ей это, ибо искал истину путем закона.

Она узнала матроса Ваганова и не опознала другого. Убежден, что знала она и другого, но назвала одного Ваганова потому, что в момент допроса он был мертв. «Краса и гордость революции» не успел бежать из Екатеринбурга и спрятался у себя в погребе. Его нашли здесь верх-исетские рабочие и тут же на месте убили.

У себя в Коптяках Настасья была откровеннее. Когда она прискакала в Коптяки, вся деревня слушала ее. Кр-н Швейкин показывает: «Как Настасья приехала, весь народ взбулгачила: войско идет. Сказывала она, что у самых Четырех Братьев, как только они доехали до них, им попалось войско. Войско, говорит, идет, а сзади чего-то везут в автомобиле. Так она и сказывала про автомобиль... Все это Настасья нам рассказывала на улице при всем собрании».

Откуда же пришел на рудник грузовой автомобиль?

Все автомобили в Екатеринбурге были отобраны большевиками. Он мог сюда прийти только из советского гаража.

Гараж был подчинен особому управлению. Там по нужде служили братья Петр и Александр Леоновы. В ночь на 17 июля первый дежурил в управлении, а второй помогал ему.

Леоновы[1] показали, что поздно вечером 16 июля к зданию чека был подан грузовой автомобиль. Шофера Никифорова здесь прогнали и увели автомобиль к дому Ипатьева. Он вер-

[1] Свидетели П. А. Леонов и А. А. Леонов были допрошены мною в с. Воздвиженке Екатеринбургского уезда 29 и 30 апреля 1919 г.

нулся утром 19 июля.

Так описывают его вид братья Леоновы:

ПЕТР: «Вся платформа автомобиля была запачкана кровью. Видно было, что платформу мыли и заметали, видимо, метелкой, но тем не менее кровь явственно была видна на полу платформы».

АЛЕКСАНДР: «Я помню прекрасно, что платформа его имела большие пятна замытой крови».

Много небольших костров нашли крестьяне на руднике. Это разводили курево и спасали им лошадей от комаров и овода.

Показание ЗУДИХИНА: «Видно было, что здесь привязаны были кони; деревья были поломаны и обглоданы».

Показание ЗУБРИЦКОГО: «Тогда похоже было, что здесь были привязаны кони и они выгребали копытами землю. Мне тогда казалось, что здесь для них и было разведено у молоденькой сосеночки курево от комаров».

Вблизи такого места я нашел сосновые дощечки. Они были отрублены от какой-то очень толстой сосновой доски и были обуглены. Местность давала ясную картину: кругом сырой лес; нужно было скорее развести курево; от какой-то большой сосновой доски отрубили дощечки и воспользовались ими для разжиги.

Где взяли такую доску?

Братья Леоновы, описывая возвратившийся с рудника окровавленный автомобиль, показывают, что платформа его была разбита: с краев от досок были отрублены части.

Силен уральский овод! Коммунизм не учит беречь чужое добро!

Найденные мною сосновые дощечки видны на снимке.

Вблизи маленьких костров, где разводилось курево, были найдены дощечки другого вида.

В разных местах рудника, главным образом вблизи открытой шахты, валялись обрезки новых веревок.

Крестьяне и лесничий Редников категорически определяют их назначение.

ГАВРИИЛ АЛФЕРОВ: «Недалеко от дорожки против шахты, совсем недалеко от дорожки к шахте видал я несколько дощечек разбитого ящика. Хорошо заметно было, что это от ящика дощечки. Они были белые и нестроганые, как обыкновенно у ящиков бывает... Веревочка была новая, отрезанная, один конец у нее в петлю был пропущен, а толщиной в мизинец. Прямо видать, это от ящика упаковка была».

ЗУБРИЦКИЙ: «В этом куреве валялись тонкие дощечки, так, примерно, в полдюйма, прямо видать от ящика и рубленная, новая, толщиною в мизинец увязка от ящика. Их было несколько, и они имели изгибы от углов ящика».

РЕДНИКОВ: «Я категорически положительно удостоверяю вам, что около шахты валялся обрубок веревки — упаковки от ящика. Веревка была толщиной в мизинец, совершенно новая, и

ясно совершенно было, что это именно упаковка от ящика: у нее сохранились характерные изгибы, как она проходила по углам ящика. Один конец ее был с петлей, как бывает у увязки. Она была не развязана, а резана или рублена, как это ясно было видно по ней».

Что было доставлено на рудник в этих ящиках?

17 июля 1918 года в аптекарский магазин «Русское общество» в Екатеринбурге явился служащий комиссариата снабжения Зимин и от имени общественного комиссара Войкова[1] предъявил управляющему Мецнеру письменное требование:

«Предлагаю немедленно без всякой задержки и отговорок выдать из вашего склада пять пудов серной кислоты предъявителю сего.

Обл. комиссар снабжения
Войков».

Кислота была выдана тогда же Зимину, и он расписался в получении ее на самом требовании Войкова.

В тот же день, поздно вечером, Зимин снова явился в магазин и предъявил второе требование Войкова:

«Предлагаю выдать еще три кувшина японской серной кислоты предъявителю сего.

Обл. комиссар снабжения
Войков».

И эта кислота была выдана Зимину под его расписку на том же требовании.

Всего было выдано кислоты 11 пудов 4 фунта. Деньги за нее были уплачены магазину 18 июля в сумме 196 рублей 50 копеек.

Поздним вечером 17 июля и днем 18 июля эта кислота в деревянных ящиках, обмотанных веревками, и была доставлена на рудник красноармейцами и одним из служащих комиссариата снабжения.

В дни оцепления рудника туда доставлялся также в большом количестве бензин.

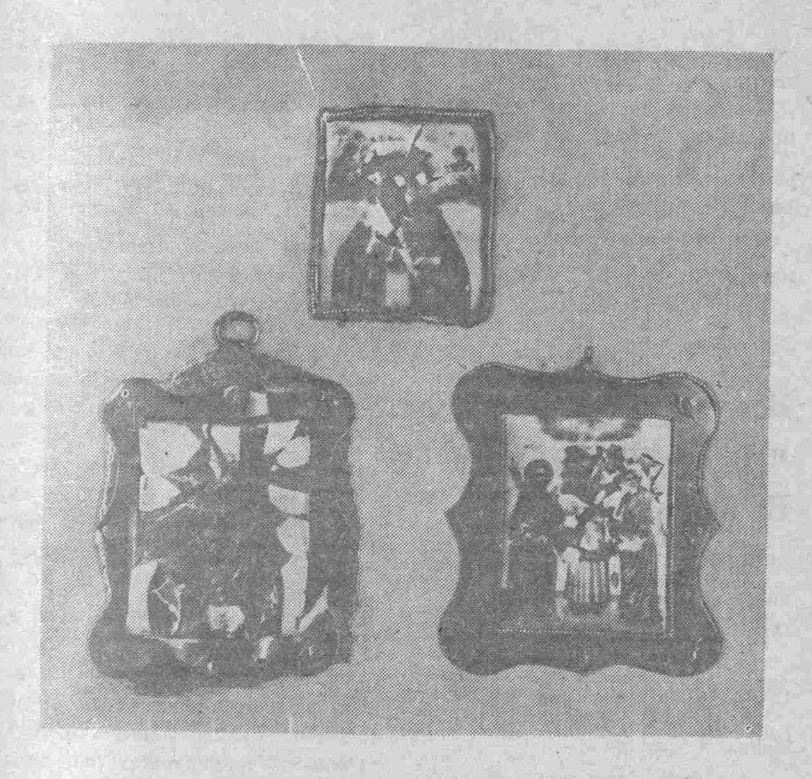
Он возился в грузовых автомобилях. Они не шли дальше переезда № 184 и оставались здесь. На рудник его доставляли от переезда лошадьми.

18 июля ехал из города в Коптяки инженер Котенев[2]. Его не пропустили у переезда. Он видел бочонок с бензином: «На автомобиле стоял железный бочонок от бензина. Я убежден, что это был именно бочонок от бензина. В таких бочонках всегда бывает бензин... Я точно могу вам определить количество бензина, которое должно было входить в бочонок, что был на грузовом автомобиле. Это был бочонок на 10—11 пудов».

Василий Лобухин показал: «18 июля утром часов в 7 прошел времянкой (из Екатеринбурга) грузовой автомобиль и пошел по коптяковской дороге, но саже-

[1] Петр Лазаревич Войков был в штабе Ленина и прибыл в Россию вместе с ним. Национальности его не знаю.

[2] Свидетель В. С. Котенев был мною допрошен 22 июля 1919 года в г. Ишиме.



нях в 150 от нашего переезда он остановился. Что именно в нем было, я хорошо не заметил. Показалось мне, что на нем были бочки или ящики. После обеда еще один грузовой автомобиль прошел и на том же месте остановился. Тут я хорошо заметил, что в этом автомобиле в железных бочках бензин везут. Я вздумал попросить бензину, взял бутылку и пошел туда, где на коптяковской дороге стояли эти два грузовых автомобиля; и я в этот раз хорошо не заметил, что было на первом из автомобилей, который первым пришел. На втором же было бочки три бензина или, может быть, две. Бочки все были железные. Около обоих автомобилей было человек 5 людей... Попроси я у них налить мне бензину. Они дали мне бутылку».

Многие видели, как возился бензин. Оценивая показания свидетелей, я утверждаю, что его было доставлено на рудник самое меньшее пудов 40.

Исследуя шахту, 28 июля Редников и крестьяне, а 30 июля и судебный следователь Наметкин нашли, что лед в ее большом колодце был пробит, а в малом совсем уничтожен.

Позднее я установил осмотром шахты, что дно малого колодца было, кроме того, засыпа-

но глиной, взятой с соседней площадки, на 12 вершков.

На этой площадке крестьяне обнаружили большой костер, несколько дальше от нее у старой березы — другой.

Костры эти сохранились до меня.

Что же привозил на рудник грузовой автомобиль в ночь на 17 июля?

Что сжигали в двух больших кострах?

Что прятали на дне шахты?

Зачем привозили сюда серную кислоту и бензин?

Самый лучший ответ на все эти вопросы дадут предметы, которые были найдены на руднике.

Вещи царской семьи, найденные на руднике. Выводы

Вот что было найдено на руднике в урочище Четырех Братьев[1]:

1. Образ Святого Николая Чудотворца.

2. Образ Святителей Гурия, Авива и Самона.

3. Образ Спасителя.

Образа хорошей работы. Они сильно пострадали от ударов в самый лик изображений.

Сзади у них были подушечки для ношения на груди. Подушечка сохранилась в исправности у третьего образа.

Теглева и Эрсберг удостоверили, что эти образа принадлежали детям: образ Николая Чудотворца — Ольге Николаевне. Обычно эти образа висели у их кроватей. В дорогу они надевали их на себя.

4. 30 кусочков эмали от этих образов.

5. 3 металлические пластинки от одного образа.

Однородные пластинки имеются и у трех указанных образов. Но эти пластинки иной величины и принадлежат четвертому образу.

Они слегка закоптели от огня.

6. Серебряная рамочка от образа.

Эта рамочка, по ее величине, не могла принадлежать трем указанным образам и не могла иметь трех указанных пластинок. Она относилась к пятому образу.

Теглева и Эрсберг показали, что в такой рамочке был один из образков императрицы.

Рамочка слегка пострадала от огня.

7. Два кусочка цинка от образа.

Тутельберг показала: «Я ви-

[1] Большая часть этих предметов с 10 февраля по 18 декабря 1919 года подвергалась экспертизам через врачей, оптиков, ювелиров, сапожников, портных, торговцев.

жу два цинковые обломочка со следами краски на них. Я хорошо знаю, что у Ее Величества были такие простые, маленькие образки из цинка».

8. Кусочки белого воска, кусочки красного воска и часть стеариновой свечи.

Наметкин находил в Ипатьевском доме белые восковые и стеариновые свечи. У охранника Ивана Старкова из числа царских вещей были найдены свечи красного воска.

Камердинер Волков показал: «Свечи красного воска были у них в обиходе в Тобольске. Им такие свечи доставлялись из монастыря и из собора».

9. Портретная рамочка.

Она сделана из настоящей кожи, внутри обложена шелком. На ней имеется клеймо: «Эдуард Аккерман. Берлин».

Вместе с ней найдены обрывки фотографической карточки. Нельзя понять ее изображения.

Свидетели Жильяр, Гиббс, Теглева, Эрсберг, Занотти показали, что таких рамочек было много у царской семьи. Обычно они брались с собой в дорогу.

Тутельберг показала, что в такой рамочке был у государя портрет государыни.

10. Воинский значок.

Этот значок сделан из серебра, покрытого золотом. Одна его сторона покрыта белой и темно-оранжевой эмалью.

На обратной стороне выгравировано: «1803 17. V 1903».

Свидетели показали:

ТЕГЛЕВА: «Этот значок принадлежит государыне».

ЭРСБЕРГ: «Значок безусловно государыни. Она его носила на браслете».

ТУТЕЛЬБЕРГ: «Этот значок принадлежит Ее Величеству. Ее Величеству он был поднесен командиром Уланского полка Орловым, а Ее Величество была шефом этого полка».

11. Пряжка от мужского пояса офицерского образца.

Свидетели показали:

ИВАНОВ: «Государь в последнее время носил простой желтый пояс с пряжкой офицерского образца. Я вижу предъявленную мне вами пряжку от пояса. Я думаю, что от пояса государя эта пряжка: такая же была у него на поясе».

ГИББС: «Медная пряжка от пояса государя офицерского образца».

ТЕГЛЕВА: «Медная пряжка от пояса мужчины похожа на пряжку пояса государя».

ОБВИНЯЕМЫЙ ЯКИМОВ: «Я думаю, что эта пряжка от пояса царя. Она очень походит на пряжку на его поясе».

Мне кажется, что принадлежность ее государю ясна.

Эта пряжка подвергалась сильному воздействию огня.

12. Пряжка от пояса мальчика.

Пряжка медная, хорошей работы. На ней имеется изображение государственного герба.

Она была найдена вместе с застежкой.

Свидетели показали:

ИВАНОВ: «Я положительно признаю ее за пряжку Алексея Николаевича. Именно она была у него на ремне».

ТЕГЛЕВА: «Пряжка от пояса мальчика — это безусловно пряжка от пояса Алексея Николаевича».

Так же категорически определяют ее свидетели Жильяр, Гиббс, Эрсберг, Тутельберг, Зонотти, Волков, Кобылинский и Битнер.

Пряжка подвергалась сильному действию огня.

13. Две парные пряжки от дамских туфель с камнями.

Свидетели показали:

ТЕГЛЕВА: «Две пряжки от туфель — это пряжки от туфель одной из княжен. У них у всех были такие пряжки на туфлях. Такие же, впрочем, пряжки были и на туфлях императрицы».

ЗАНОТТИ: «Две пряжки от туфель — совершенно такие же, какие были на туфлях у княжен и у государыни».

Так же показали свидетели Жильяр, Гиббс, Эрсберг, Тутельберг, Кобылинский, Битнер и Волков.

Экспертиза определила: «Пряжки эти являются пряжками от дамских туфель. Они несомненно есть принадлежность хороших дорогих туфель. Обращает на себя внимание самая работа пряжек: гнезда для помещения камней сделаны аккуратно, хорошо, и камни, благодаря этому, еще держатся в гнездах, несмотря на то что как самые пряжки, так и камни подвергались очень сильному действию огня».

14. Пряжка от дамских туфель.

Занотти показала: «Одна пряжка — это от туфель. Именно такие пряжки были на туфлях у княжен и государыни».

Она подвергалась действию огня.

15. Белый флакон с солями.

16. Зеленый флакон в разбитом виде.

Теглева, Эрсберг, Тутельберг и Зонотти показали, что такие флаконы с солями были в употреблении и у княжен, и у государыни; они брали их с собой обычно в дорогу.

17. Стекло от очков.

Экспертиза определила его как оптическое стекло, бывшее в оправе. Свидетели показали:

ЖИЛЬЯР: «Предъявленное мне вами стекло от очков напоминает мне стекло от очков Ее Величества».

ТУТЕЛЬБЕРГ: «Государыня в Тобольске носила очки во время работы. Ее Величество, вероятно, от слез стала страдать глазами в Тобольске, и ей какой-то тобольский доктор назначил очки. Они были большие и в черепаховой оправе».

КОБЫЛИНСКИЙ: «Государыня в Тобольске при работе носила большие очки в роговой, кажется, оправе. Величина ее стекол была такая же... Эти очки ей приписал в Тобольске доктор Григоржевский».

18. Оправа-держатель от пенсне.

19. Два стекла от пенсне.

Экспертиза определила: «Оба стекла, судя по их величине и шлифовке у краев, от одного и того же пенсне. Оба стекла — двояковыпуклые, что свидетельствует о том, что им пользовал-

ся человек дальнозоркий».

Свидетели показали:

ЖИЛЬЯР: «Боткин пользовался иногда пенсне, при чем оно было в оправе только у переносицы».

КОБЫЛИНСКИЙ: «Предъявленные мне вами стекла от пенсне весьма напоминают своей формой стекла от пенсне Боткина. Боткин при чтении всегда снимал очки и пенсне. Он, очевидно, был дальнозоркий».

20. Искусственная челюсть.

Жильяр, Гиббс и Эрсберг показали, что доктор Боткин носил искусственную челюсть.

21. Обгорелая маленькая щеточка.

Кобылинский показал, что доктор Боткин всегда имел при себе маленькую щеточку для усов и бороды.

22. Запонка от воротничка.

23. Держатель для галстука.

Охранники Проскуряков и Якимов удостоверили, что доктор Боткин носил в доме Ипатьева крахмальное белье.

24. Обгорелые части уничтоженных огнем корсетов:

а) шесть пар передних планшеток;

б) боковые кости;

в) пряжки;

г) застежки и крючки;

д) блочки для шнуровки.

Экспертиза определила, что это части — от шести корсетов. О качестве корсетов она говорит: «Корсеты были хорошей работы. Оставшаяся в некоторых из пряжек материя есть часть резины подвязок. Обгорелая материя в некоторых пряжках — материя самого корсета. Эта материя вязаная, она вязана из шелковой ткани».

Свидетели показали:

ТЕГЛЕВА: «Я удостоверяю, что императрица и княжны и Демидова всегда носили корсеты. Только государыня иногда снимала с себя корсет, когда надевала капоты. Вообще же она этого требовала от княжен и говорила им, что не носить корсета — это распущенность».

ЗАНОТТИ: «Княжны и государыня обычно носили корсеты. Демидова тоже носила корсет».

25. Свыше сорока однородных кусков от предмета или нескольких предметов, уничтоженных огнем.

Экспертиза определила: «Эти предметы представляют собой части сгоревшей в огне обуви. Здесь имеются части кожи, подошвы, пробки и вара, слившиеся в одну массу от огня. Вид этих предметов свидетельствует, что обувь эта была механической, хорошей работы. Замечающаяся в некоторых кусочках материя есть принадлежность именно этой обуви, каковая материя употребляется при изготовлении обуви, имеющей пробку, что тоже указывает, само по себе, на высокое свойство обуви».

26. Железный предохранитель при сапоге.

27. Семь мужских пряжек.

Экспертиза определила: «Все эти пряжки, кроме самой большой, есть принадлежность или мужских брюк, или мужских жилетов. Последняя пряжка есть

принадлежность жилета. Из них две парные. Все они хорошей работы: заграничной, кроме одной: самой большой; эта пряжка русской кустарной работы».

28. Спиральные пружинки.

29. Пряжка.

Эти пружинки и пряжка есть принадлежность мужских помочей, уничтоженных огнем.

30. Две металлические пряжки.

Экспертиза определила, что обе они относятся к дамским костюмам. Тутельберг показала, что одна из них от пояса или государыни, или княжен. Теглева — что другая от пояса Демидовой.

Обе пряжки сильно обгорели.

31. Шесть пуговиц военного образца.

На внутренней их стороне значится, что они изготовлены фабрикой Вундера в «С. Петербуре».

Экспертиза определила: «Все эти пуговицы хорошего сорта. Если они фабрики Вундера, то они вообще были не в употреблении, так как пуговицы этой фабрики были дороже других».

Они пострадали от огня.

32. Пуговицы и части их.

Теглева, Эрсберг, Тутельберг и Занотти показали, что среди этих пуговиц были такие, какие имелись на рукавах блузочек княжен, на подвязках императрицы, большие пуговицы — от лилового костюма государыни.

Пуговицы сильно пострадали от огня.

33. Крючки, петли, кнопки.

Теглева, Эрсберг, Тутельберг и Занотти показали, что такие предметы ставила к костюмам княжен и государыни их портниха Бризак.

Все они сильно пострадали от огня.

Бросается в глаза, что многие петли и крючки сильно вытянуты. Иногда петля с крючком не разъединена.

34. Кусочки материи.

Среди них свидетели Теглева, Эрсберг, Тутельберг, Занотти, Жильяр и Кобылинский признали материю от костюмов княжен, государыни, Демидовой и Боткина.

Резко заметно, что материя или грубо отрывалась от костюма или иногда грубо отрезалась при помощи ножа.

Многие кусочки ее полуобгорели.

35. Кусочки сукна.

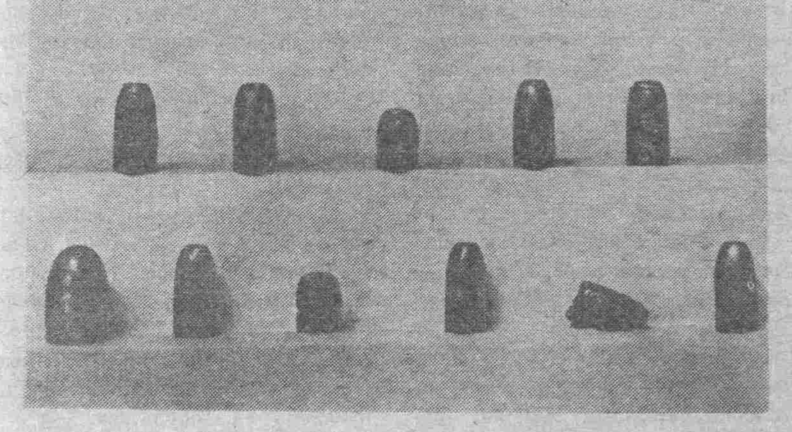
Свидетели показали:

ИВАНОВ: «Я вижу предъявленные мне вами кусочки обгорелого сукна. Я положительно думаю, что это остатки сукна от шинели Алексея Николаевича. Совершенно такого же сукна была и у него шинель».

КОБЫЛИНСКИЙ: «Я хорошо знал шинель Алексея Николаевича. Я вижу кусочки обгорелого сукна. Я думаю, что это куски от его шинели. Цвет сукна, его добротность и потертость напоминают мне именно его шинель».

36. Кусочек материи защитного цвета.

Чемодуров, при котором был найден этот кусочек, показал, что он отрезан от вещевого мешка наследника цесаревича.



37. Кусочки свинцовой бумаги.

38. Четыре гвоздя.

39. Использованный патрон от револьвера.

40. Две медные монеты двухкопеечного достоинства.

Свидетели показали:

ИВАНОВ: «Алексей Николаевич, как мальчик, любил собирать свинцовую бумагу, винтовочные и револьверные патроны. Таких вещей много было у него в карманах».

ГИББС: «Он имел некоторые фантазии: собирал в Тобольске старые гвозди».

ТЕГЛЕВА: «Я помню, он собирал свинцовую бумагу».

41. Американский ключ от чемодана.

42. Части сумочки или портмоне.

43. Перочинный нож.

44. Безопасная булавка.

Все эти предметы пострадали от огня.

45. Осколки стекол.

Некоторые из них — несомненно от часов, рамочек, другие — от флаконов с солями.

46. Драгоценный крест.

Основной его металл — платина. Он состоит из изумрудов, бриллиантов и жемчугов.

Экспертиза определила: «Крест хорошей художественной работы. Он несомненно подвергался действию огня. На это указывает вид платины, а главным образом то, что имеющийся на одной из его игл шарик представляет собой сгоревший жемчуг».

47. Бриллиант.

Его основной металл платина, внизу — зеленое золото. Он осыпан алмазами. Вес его 10 карат.

Экспертиза определила: «Бриллиант представляет высокую работу и несомненно является лишь частью другого украшения: подвес. Вид платины свидетельствует, что камень подвергался действию огня, но своих свойств и ценностей не потерял».

Свидетели показали:

ТУТЕЛЬБЕРГ: «Я категори-

чески опознаю и бриллиант и крест. Эти вещи принадлежат Ее Величеству. Бриллиант — подарок Ее Величеству от Его Величества по случаю рождения одной из княжен. Крест — подарок Ее Величеству государыни императрицы Марии Федоровны».

ЗАНОТТИ: «Крест и бриллиант — это безусловно государыни императрицы. Происхождение креста я не помню. Ей его подарил или государь, или государыня императрица Мария Федоровна. Большой бриллиант — подарок государя, кажется, при рождении одной из княжен».

48. Серьга.

Основной ее металл — платина, главный камень — жемчуг, меньший — бриллиант, застежка серьги золотая».

Экспертиза определила: «Эта серьга представляет собой прекрасную, высокохудожественную работу. Жемчуг лучший по своим свойствам. Действию огня серьга не подвергалась».

Свидетели показали:

ЖИЛЬЯР: «Я думаю, что эта серьга — государыни. У Ее Величества были такие серьги. Она их очень любила, и я часто снимал Ее Величество, когда она имела их на себе».

ГИББС: «Серьга безусловно государыни. Это были ее любимые серьги, и она часто их носила».

ТЕГЛЕВА: «Серьги и осколочки от них это безусловно серьги государыни, которые она очень любила».

ЭРСБЕРГ: «Серьга — безусловно серьга государыни. Это были ее любимые серьги, с которыми она не расставалась и, по-моему, она в них уехала из Тобольска».

Тутельберг и Занотти я мог предъявить лишь фотографические изображения серьги. Они показали:

ТУТЕЛЬБЕРГ: «Я вижу фотографическое изображение серьги. Я положительно утверждаю, что на этом снимке изображена одна из парных серег Ее Величества. Это были самые любимые серьги Ее Величества. В них она приехала из Тобольска».

ЗАНОТТИ: «Из предъявленных мне вами вещей и их изображений я могу опознать... Серьга — также ее. Эти серьги она любила и чаще других носила их».

49. Части жемчуга и часть разрушенного золотого украшения.

Экспертиза определила: «...Представляют собой настоящий жемчуг. Он подвергался действию огня. Допустимо, что его части составляли некогда одну жемчужину. Крупный осколок свидетельствует о том, что этот вид жемчуга также весьма высок по своим свойствам и ценности. Вполне допустимо, что эти осколки составляли одну жемчужину, парную к только что упомянутой серьге».

50. Части жемчуга.

Экспертиза определила в отношении этих осколков жемчуга.

В отношении 1-го: «Принадлежит крупной жемчужине, весьма хорошего свойства и отделился от нее при помощи удара или давления».

В отношении 2-го и 3-го: «Оба осколка принадлежат жемчугу весьма большого размера и весьма высокого качества».

В отношении 4-го и 5-го: «Те же выводы, что и в отношении 2-го и 3-го».

В отношении 6-го: «Этот осколок принадлежит также крупной жемчужине, высоких качеств, но он от другой женчужины, а не от той, к которой могут принадлежать осколки, описанные в предыдущих пунктах».

51. Тринадцать круглых жемчужин.

Экспертиза определила: «Все они высокого качества и, видимо, принадлежат все к одной нити».

Теглева, Эрсберг, Тутельберг, Занотти показали, что императрица и княжны имели много нитей с такими жемчужинами.

52. Часть разрушенного украшения с бриллиантами.

Экспертиза определила в отношении главной части (большей): «Украшение имеет настоящие бриллианты, высоких свойств, оправленные в чистое серебро, причем в оправе имеется припайка золотом. Это украшение является частью какого-то другого, более крупного. Оно носит на себе следы разрушения его путем удара по нему каким-то твердым предметом».

В отношении 1-го кусочка: «Этот металла есть серебро. Этот кусочек произошел вследствие отделения от предыдущего украшения, причем, он, видимо, отделился от него ударом какого-либо режущего предмета».

В отношении 2-го: «Металл кусочка — серебро. Этот кусочек также произошел вследствие отделения его от украшения, причем ясно видно, что это отделение было произведено при помощи острорежущего предмета; этот кусочек также подвергался действию огня, как и предыдущий, но в большей степени».

В отношении 3-го и 4-го: «Те же выводы, что и в отношении 2-го».

Тутельберг показала: «Я вижу часть украшения с бриллиантами. Оно мне положительно напоминает брошь Ее Величества. Это — часть от нее, от броши».

53. Тридцать осколков изумруда.

Экспертиза определила: «Осколки принадлежат изумруду. Они отделены от какого-то крупного изумруда, весьма хорошего по своим свойствам. Это отделение произошло при помощи какого-то твердого и тяжелого предмета. Действию огня изумруды не подвергались, но, видимо, они топтались, так как шлифовка у одного из них стерта».

Тутельберг показала: «У Ее Величества было много таких вещей, в которых были изумруды. Это осколки от очень крупного изумруда. Но я затрудняюсь сказать, от какого именно предмета эти осколки. Возможно, что это разбитое изумрудное яйцо Ее Величества».

54. Два осколка сапфира.

Экспертиза определила: «Эти осколки, видимо, от разных камней. Они оба принадлежат камням высоких свойств. Они отде-

лены от целого камня путем сильного удара по ним каким-либо тяжелым предметом».

55. Два бриллианта, рубин, два альмандина, два диаманта.

Экспертиза определила в отношении бриллиантов: «Оба камня являются бриллиантами высоких свойств. Они, видимо, находились в системе какого-либо крупного украшения».

В отношении альмандинов: «Этот камень альмандин высокого качества. Он является осколком от более крупного камня и отделен от него при помощи сильного удара каким-либо тяжелым предметом. Он, видимо, входил в состав осыпи на каком-либо драгоценном украшении, имевшем круглую форму...» «Этот камень альмандин хороших качеств. Он является осколком от более крупного камня, отделенном от него при помощи какого-то тяжелого предмета».

В отношении рубина: «Этот камень рубин, средних качеств. Он был в какой-то оправе».

В отношении диамантов: «Вспомогательная часть украшения из нитей».

Тутельберг показала про диаманты: «Это от цепочки браслета Ее Величества. В цепочке этого браслета были жемчужинки, а между ними вот такие бусинки».

56. Две золотые цепочки.

Экспертиза показала: «Обе цепочки золотые; они являются предохранителями при запирательном механизме браслетов, причем они, видимо, оторваны от них».

Тутельберг показала: «Я вижу обрывки от браслетов. Таких браслетов с такими цепочками у Ее Величества и у княжен было несколько. Такие браслеты были на них на всех в момент отъезда из Тобольска».

Теглева и Эрсберг показали то же.

57. Часть золотого предмета.

Экспертиза определила: «Принадлежит золотому кольцу, от которого она отделена при помощи удара каким-либо тяжелым предметом».

58. Золотая пластинка.

Экспертиза определила: «Произошла вследствие отделения ее от какого-либо другого крупного предмета при помощи остророжущего орудия, следы коего она носит сама».

59. Две части золотых украшений.

Экспертиза определила: «Обе части золотые. Одна из них, скорее всего, является частью серьги, другая — браслета».

60. Золотое украшение с тремя алмазами.

Экспертиза определила ее как вспомогательную часть крупного украшения.

Тутельберг показала: «Это — петля для сцепления драгоценных украшений. Таких петель было много у Ее Величества».

61. Топазы.

Жильяр, Гиббс, Теглева, Эрсберг, Тутельберг, Кобылинский показали, что государыня и княжны носили ожерелья из таких топазов.

Обвиняемый Я к и м о в: «Княжны носили — не помню, которая именно, кажется, все — на шеях

ожерелья из белых бус, весьма похожих на те, которые я сейчас вижу».

ЗАНОТТИ: «Топазы — от ожерелий. Такие ожерелья были у княжен и у государыни. Эти ожерелья им были подарены Распутиным».

Как попали на рудник царские драгоценности?

Мы видели, что императрица, подвергшись в Екатеринбурге на первых же порах грубому обращению, писала в Тобольск и просила позаботиться о драгоценностях. Перед отъездом детей из Тобольска их зашили в одежды.

Теглева показала: «Мы взяли несколько лифчиков из толстого полотна. Мы положили драгоценности в вату, и эту вату мы покрыли двумя лифчиками, а затем эти лифчики сшили. Таким образом, драгоценности были зашиты между двумя лифчиками, а сами они были с обеих сторон покрыты ватой. В двух парах лифчиков были зашиты драгоценности императрицы. В одном из таких парных лифчиков было весом 4½ фунта драгоценностей вместе с лифчиками и ватой. В другом было столько же весу. Один надела на себя Татьяна Николаевна, другой Анастасия Николаевна. Здесь были зашиты (в обоих парных лифчиках) бриллианты, изумруды, аметисты.

Драгоценности княжен были таким же образом защиты в двойной лифчик, и его (не знаю, сколько в нем было весу) надела на себя Ольга Николаевна.

Кроме того, они под блузки на тело надели на себя много жемчугов. Зашили мы драгоценности еще в шляпы княжен между подкладкой и бархатом. Из драгоценностей этого рода я помню большую жемчужную нитку и брошь с большим сапфиром и бриллиантами.

У княжен были верхние синие костюмы из шевиота. На этих костюмах (летних, в которых они поехали) пуговиц не было, а были кушаки, и на каждом кушаке по две пуговицы. Вот эти пуговицы мы отпороли и вместо пуговиц вшили драгоценности, кажется, бриллианты, обернув их сначала ватой, а потом черным шелком.

Кроме того, у княжен были еще серые костюмы из английского трико с черными полосками; это были осенние костюмы, которые они носили и летом в плохую погоду. Мы отпороли на них пуговицы и также пришили драгоценности, также обернув их ватой и черным шелком».

62. 24 кусочка свинца, 2 пули от револьвера системы Нагана и одна стальная оболочка от такой же пули.

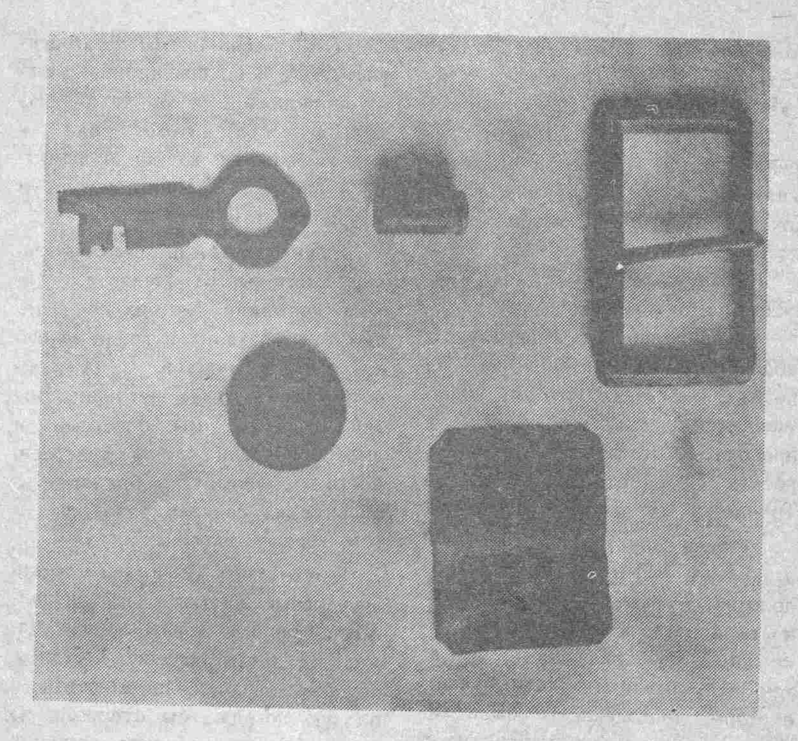
Форма кусочков свинца весьма характерна. Свинец растапливался в огне и, охлаждаясь затем, сохранил неправильную форму застывшей массы.

Пустая оболочка от пули — закопчена. Из нее вытек свинец под действием огня.

63. Человеческий палец и два кусочка человеческой кожи.

Экспертиза определила:

1. Палец представляет собой две фаланги: ногтевую и сред-



нюю. Вероятнее всего, это указательный палец.

2. Этот палец принадлежит, по всей вероятности, руке человека, знакомого с маникюром, и имеет вид выхоленный.

3. Экспертиза более склонна признать, что этот палец — женщины, имевшей тонкие длинные пальцы.

4. Он отделен по линии межфалангового сустава. Края сустава и кожи представляются ровными. Поэтому, экспертиза предполагает, что палец, скорее всего, отрезан каким-либо острым режущим предметом.

5. Палец принадлежит взрослому человеку средних лет.

6. Оба кусочка кожи отделены от руки человека, но от какой именно части руки и какой именно, определить не представляется возможным*.

---

* ПРИМЕЧАНИЕ

Фотографии, которые мы публикуем, хранятся в Государственном архиве Новосибирской области в объединенном фонде братьев Виктора и Анатолия Пепеляевых.

На конверте, где вложены фотографии, написано: В(есьма) секретно. В собственные руки. Его превосходительству В. Н. Пепеляеву г(осподину) управляющему Министерством внутренних дел. № 353. Министерство иностранных дел.

На этой же стороне написано ручкой: 21 фотография. Внизу: при проверке оказалось 19 копий 29 ноября 1935 г. Подпись неразборчива (данное дело проверялось архивным работником на предмет наличия фотографий. Местонахождение остальных четырех фотографий нам неизвестно).

На другой стороне конверта написано, также ручкой: 21 фотография того, что было найдено колчаковской

64. Труп собаки самки.

Собака была найдена 25 июня 1919 года на дне открытой шахты. Благодаря низкой температуре в шахте труп хорошо сохранился.

Правая передняя лапа сломана. Череп пробит, отчего, по заключению врача, и произошла ее смерть.

Гиббс показал: «У Анастасии Николаевны была маленькая собачка какой-то японской породы. Это была очень маленькая собачка с длинной шерстью. Окрас ее был черно-рыжий... Ее отличительные приметы были вот какие: у нее были большие круглые глаза; зубы ее были обнажены и постоянно виднелись, язык у нее был длинный и висел изо рта, не помню, на какую сторону. Кличка ее была Джемми. Такие собачки — очень маленькие, и их часто носят на руках. Принадлежала она Анастасии Николаевне, любили эту собачонку они все и в особенности императрица. Я сегодня видел собачку у шахты. Я утверждаю, что эта собачка, которую я видел у шахты, и есть Джемми. Я обратил внимание и на ее шерсть и на форму глазных впадин и на зубы. Это, безусловно, она».

Тутельберг, Теглева и Эрсберг также опознали ее.

65. Осколки костей млекопитающего.

Они все сильно обожжены, разрезаны и раздроблены.

Крушение власти адмирала не позволило мне произвести научное исследование этих костей, какое бы я желал. Однако врач Белоградский, к которому они были представлены мною, при допросе показал: «Я не исключаю возможности принадлежности всех до единой из этих костей человеку. Вид этих костей свидетельствует, что они рубились

(ген. Дитерихс) комиссией по исследованию условий гибели царской семьи в Свердловске на месте, где казненные были сожжены.

Конверт был опечатан круглой печатью на сургуче, где просматривается и сейчас (18 июля 1990 года, 14 час. 50 мин. иркутского времени): Министерство. Вероятно, это была печать Министерства иностранных дел Верховного правителя Колчака.

В журнале «Москва», № 6 за 1990 г. в статье В. Солоухина «Знакомство» есть такие строки, где он рассказывает об убийстве советского полпреда в Варшаве Войкова Петра Лазаревича (Пинхуса Вайнера) Борисом Ковердой, гимназистом, 7 июня 1927 г. со словами: «За Россию!»

Поводом для убийства могло послужить хвастовство Войкова, когда он рассказывал о расстреле царской семьи Николая II, в котором он принимал участие.

Итак, строки из статьи В. Солоухина на «Знакомство»:

«Почти три года Войков пробыл на посту советского полпреда в Варшаве. А под Новый, для него роковой, 1927 год под влиянием выпитого, он рассказал наконец своему собеседнику Беседовскому жуткую историю бойни в доме Ипатьева. «Это была ужасная история, — говорил Войков, держа в руках перстень с рубином, переливающимся цветом крови, который он снял с одной из жертв после убийства. — Мы все, участники, были прямо-таки подавлены этим кошмаром. Даже Юровский, — и тот под конец не вытерпел и сказал, что еще несколько таких дней — и он сошел бы с ума».

Кстати, в шахте, где были обнаружены некоторые вещи убитых, нашли палец, отрезанный с явной целью снять перстень. Уж не с этого ли пальца перстень с рубином вертел в руках Войков, рассказывая в подпитии о екатеринбургском кошмаре?»

ПРИМЕЧАНИЕ ПОДГОТОВЛЕНО В. М. СЕРЕБРЕННИКОВЫМ, ЗАВЕДУЮЩИМ ОТДЕЛОМ ИНФОРМАЦИИ, ПУБЛИКАЦИИ И НАУЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ.

и подвергались действию какого-то агента».

Все эти кости были найдены исключительно мною. Но их в действительности было найдено больше.

Лесничий Редников показывает: «Я категорически удостоверяю, что тогда мы в костре у шахты нашли несколько осколков раздробленных и обгорелых костей. Это были осколки крупных костей крупного млекопитающего и, как мне тогда казалось, осколки трубчатых костей. Они были сильно обгорелые».

Много и других ценных вещей нашел Редников. Ошибка Наметкина имела для них роковое значение. Не понимали, что произошло на руднике, и все эти ценнейшие предметы выкинули.

66. Куски сальных масс, смешанных с землей.

Все эти предметы были найдены в районе открытой шахты: на глиняной площадке в кострах или вблизи их, около открытой шахты в траве.

Заметные для глаза предметы, как, например, палец, труп Джемми, многие кости, были найдены на дне открытой шахты, где они (в малом колодце) были засыпаны землей с глиняной площадки.

Рудник выдал тайну ипатьевского дома.

Вечером 16 июля царская семья и жившие с ней люди были живы.

Ранним утром 17 июля, под покровом ночной тьмы, грузовой автомобиль привез их трупы на рудник в урочище Четырех Братьев.

На глиняной площадке у открытой шахты трупы обнажили. Одежду грубо снимали, срывая и разрезывая ножами. Некоторые из пуговиц при этом разрушались, крючки и петли вытягивались.

Скрытые драгоценности, конечно, были обнаружены. Некоторые из них, падая на площадку, среди множества других, оставались незамеченными и втаптывались в верхние слои площадки.

Главная цель была уничтожить трупы. Для этого, прежде всего, нужно было разделить трупы на части, разрезать их. Это делалось на площадке.

Удары острорежущих орудий, разделяя трупы, разрезали и некоторые из драгоценностей, втоптанные в землю.

Экспертиза установила, что некоторые из драгоценностей разрушены сильными ударами каких-то твердых предметов: не острорежущих орудий. Это те именно, которые были зашиты в лифчиках княжен и разрушены в самый момент убийства пулями на их телах.

Части трупов сжигались в кострах при помощи бензина и уничтожались серной кислотой. Оставшиеся в телах пули падали в костры, свинец вытапливался, растекался по земле и, охлаждаясь затем, принимал форму застывших капель: пустая оболочка пули оставалась.

Сжигаемые на простой земле

трупы выделяли сало. Стекая, оно просалило почву.

Разорванные и разрезанные куски одежды сжигались в тех же кострах. В некоторых были крючки, петли и пуговицы. Они сохранились в обожженном виде. Некоторые крючки и петли, обгорев, остались неразъединенными, нерасстегнутыми.

Заметив некоторые оставшиеся предметы, преступники побросали их в шахту, пробив в ней предварительно лед, и засыпали их землей.

Здесь та же самая картина, что и в ипатьевском доме: скрыть от мира совершенное зло.

Так говорят о преступлении самые лучшие, самые ценные свидетели: немые предметы.

Послушаем теперь, что скажет о нем лукавый человеческий язык.

(Продолжение следует)

В. В. Розанов

ВОЗЛЕ «РУССКОЙ ИДЕИ»

Осмотримся.

Бисмарк, вращавшийся в пору петербургского посольства в нашем обществе и присматривавшийся к русским характерам, говорил, что они «необыкновенно женственны»; и прибавил, что «в сочетании с мужественным германским элементом они могли бы дать чудный материал для истории». Эту же мысль, у Бисмарка не звучавшую уничижительно, император Вильгельм выразил так: «Славяне — не нация: это — только материал и почва, на которой вырастет другая нация, с историческим призванием». Он разумел будущую Германию. Оба тезиса поднимают вопрос о «мужественном» и «женственном» в истории.

«Муж есть глава дома...» Но хозяйкою бывает жена. Та «жена», которая при замужестве потеряла свое имя, а во Франции не может распорядиться своим имуществом и даже своим заработком. Но и во Франции, как и в России, как решительно везде, жена наполняет «своей атмосферой» весь дом, сообщает ему прелесть или делает его грубым; всех привлекает к нему или от него отталкивает; и, в конце концов, она «управляет» и своим мужем, как шея движениями своими ставит так и этак голову, заставляет смотреть туда и сюда его глаза и, в глубине вещей, нашептывает ему мысли и решения...

Муж, положим, «глава»; но — на «шее», от которой и зависит «поворот головы».

Вот что можно ответить Вильгельму и Бисмарку на их указания о «женственном характере» славян, в частности — русских, и на «печальную роль подчиненности и даже рабства» в будущем, которую они нам предрекают, основываясь на нашей «женственности».

Достоевский, много мыслей от-

давший «будущему России», не сказал этой формулы, которую я говорю здесь, — формулы ясной и неопровержимой, ибо она физиологична и вместе духовна; но он тянулся именно сюда, указывая на «всемирную отзывчивость русских», на их «способность примирить в себе противоречия европейской культуры», на то, что «русские наиболее служат всемирному призванию своему, когда наиболее от себя отрекаются...». Пушкинская речь его, сказанная в этих тонах, известна; но гораздо менее известно одно место из «Подростка», именно диалог Версилова со своим сыном от крепостной девушки, где эта идея выражена с таким поэтическим обаянием, до того нежно и глубоко, так, наконец, всемирно-прекрасно, как ему не удавалось этого никогда потом... Много лет меня занимает мысль разобрать этот диалог: здесь выразилось «святое святых» души Достоевского, и тут он стоит не ниже, но, пожалуй, еще выше, чем в «Легенде об инквизиторе» и в монологе Шатова-Ставрогина о «Народе-Богоносце»... Эти слова грустного русского странника; бедного русского странника, бежавшего за границу чуть ли не от долгов, а в сущности — от скуки, от «нечего делать», с гордым заключительным: «Из них (европейцев) настоящим европейцем был один я... Ибо я один из всех их сознавал тоску Европы, сознавал судьбу Европы», и проч., — удивительны. Но тут нельзя передавать: поэзия цитируется, а не рассказывается. В этой идее Достоевский и выразил «святое святых» своей души, указав на особую внутреннюю миссию России в Европе, в христианстве, а затем и во всемирной истории: именно «докончить» дом ее, строительство ее, как женщина доканчивает холостую квартиру, когда входит в нее «невестою и женою» домохозяина.

Женщина уступчива и говорит «возьми меня» мужчине; да, но едва он ее «берет», как глубоко весь переменяется. «Женишься — переменишься» — многодумная вековая поговорка. Это не жена теряет свое имя, так — лишь по документам, для полиции, дворников и консистории. На самом деле свое имя и, главное, лицо и душу теряет мужчина, муж. Как редко при муже живут его мать, его отец; а при «замужней дочери» обычно живет и мать. Жена не только «входит в дом мужа»: она входит как ласка и нежность в первый миг, но уже во второй — она делается «госпожою». Точнее, «господство» ей отдает муж, добровольно и счастливо.

Что это так выходит в истории, можно видеть из того, что, например, у «женственных» русских никакого «варяжского периода», «норманского периода» (мужской элемент) истории, быта, существования не было, не чувствовалось, не замечается. Тех, кого «женственная народность» призвала «володети и княжити над собою», — эти воинственные, железные норманы, придя, точно

сами отдали кому-то власть; об их «власти», гордости и притеснениях нет никакого рассказа, они просто «сели» и начали «пировать и охотиться» да «воевать» с кочевниками. Переженились, народили детей и стали «Русью» — русскими, хлебосолами и православными, без памяти своего языка, родины; без памяти своих обычаев и законов. Нужно читать у Огюстена Тьери «Историю завоевания Англии норманами», чтобы видеть, какой это был ужас, какая кровь и особенно какое ужасное вековое угнетение, наведшее черты искаженности на всю последующую английскую историю. Ничего подобного — у нас!..

Если мы перекинемся от тех давних времен, в подробном образе нам не известных, к векам XVIII и XIX-му, когда опять началось живое общение русских с «мужским» западным началом, — то опять увидим повторение той же истории. Как будто снаружи и сначала — «подчинение русских», но затем сейчас же происходит более внутреннее овладевание этими самыми подчинителями, всасывание их, засасывание их. «Женственное качество» — налицо: уступчивость, мягкость. Но оно сказывается как сила, обладание, овладение. Увы, не муж «обладает женою»; это только кажется так. На самом деле жена «обладает мужем», даже до поглощения. И не властью, не прямо, а вот этим таинственным «безволием», которое чарует «волящего» и грубого и покоряет его себе, как нежность и миловидность. Что будет «мило» мне, — то, поверьте, станет и «законом» мне. Вот на что не обратили внимания Бисмарк и Вильгельм. Даже Бисмарк заметил и запомнил «милого мужичка», утешавшего его своим «ничего», когда тот заблудился в снежных дебрях на охоте; а у мужичка едва ли сохранилась большая память о немецком барине, кроме того, что он его тогда «вызволил»,— и «Слава Богу», — за что получил, верно, «пятишницу» на чай. «Бисмарковского периода» в жизни мужика не было, но в необычайную сложность биографии Бисмарка все-таки вплелся русский взгляд, русский прием сказать «Ничего!» в отчаянном положении. Не железный ли человек был Миних? А какое он принес «свое влияние» на Русь? Был суровый, даже до жестокости, командир; ругали, проклинали, но не больше. Однако уже его сын писал по-русски «Добавления к записками господина Манштейна», — писал как русский патриот, как русский служилый человек, как добрый работник на необозримой русской ниве. И теперь есть русские дворяне «Минихи», совершенно то же, как «Ивановы».

* * *

Русские имеют свойство отдаваться беззаветно чужим влияниям... Именно, вот как невеста и жена — мужу... Но чем эта «отдача» беззаветнее, чище, бескорыстнее, даже до «убийства се-

бя», тем таинственным образом она сильнее действует на того, кому была «отдача». И в супружестве не ветреная жена владеет мужем, но самая покорная, безропотная, отдающаяся «вся»... За «верную жену» муж сам обратно «умрет» — это уж закон великодушия и мужества. Тут происходит буквально святое *взаимокормление*; и вот его-то *силу* не учли историки, считающие, что процесс истории есть соперничество сил и интересов, соперничество властей, — и только. Оглядываясь назад, укажем: да отдавали ли мы какому-нибудь русскому мыслителю,— ну, Новикову, ну, Радищеву, Чаадаеву, Герцену,— столько сил и энтузиазма, столько чтения и бессонных ночей, сколько их отдали мы Боклю и Спенсеру?! А Ницше последних лет? Его «Зоратустру» цитировали как любимые стихотворения, как заветную, гоняющую сон сказку; и Пушкин совершенно *никогда не знал* такой поры увлечения им, как была пора «Ницше» в его золотые дни. То же было за немного времени перед тем с Шопенгауэром. Факт этот до такой степени всеобщ и постоянен, что даже нельзя представить себе «образ русского общества», каким он был бы под воздействием «русского же увлечения». Если бы Русь зачиталась вдруг Пушкиным, стала его цитировать на перекрестках улиц, в каждом номере газет, во всяком журнале... — нельзя представить и вообразить!! «Русские бы стали на себя не похожи»: до такой степени увлекаться чем-нибудь непременно из Европы есть единственно «похожее на себя» у русских, у России... Женщина, вечно ищущая «жениха, главу и мужа»...

Сейчас совершенно еще не видно, что из этого выйдет; об этом пока тоскуют одни славянофилы, — «почти не русские». Но неизбежно что-то огромное должно выйти отсюда. Я думаю, отсюда-то именно и вытечет, через век, через $1/2$ века, огромное «нашептывающее» влияние русских на европейскую культуру в ее целом. Под воздействием этой непрерывной и страшной любви к себе, полной такого самозабвения, такого пламени, уже скучающая «мещанскою скукою» Европа не может не податься куда-то в сторону от своего эгоизма и сухости, своей деловитости и практицизма. Тут предсказывать невозможно: можно только указать на «Минихов», на Даля, на Востокова, Гротов, на еврея — собирателя русских народных песен Шейна, и добавить, что «русских католиков», как Волконские, как Мартынов и Гагарин, было меньше численно, а главное — они все были *меньшего значения*... Главное, тут что выходит: что русские, так страстно отдаваясь чужому, сохраняют в самой «отдаче» свое «женственное «я»: *непременно* требуют в том, чему отдаются, — кротости, любви, простоты, ясности; безусловно ничему «грубому», как *таковому*, русские никогда не поклонились, не «отдались», — ни Волконские, ни

Гагарин, ни Мартынов. Напротив, когда европейцы «отдаются русскому», то отдаются самой сердцевине их, вот этому «нежному женственному началу», то есть отрекаются от самой сущности европейского начала, вот этого начала гордыни, захвата, господства. Эту разницу очень нужно иметь в виду: русские в «отдаче» сохраняют свою душу, усваивая лишь тело, формы другого... В католичестве они не «поднимают меч»; олютеранившись, не прибавляют еще сухости и суровости к протестантизму. Наоборот, везде вносят нежность и мягкость. Западные же увлекаются именно «женственностью» в нас... Ее ищут у Тургенева, у Толстого... Таким образом, мы увлекаемся у них «своим», не найдя в «грустной действительности на родине» соответственного идеалу своей души (всегда мягкому, всегда нежному); у них же «увлечение русским» всегда есть перемена «внутреннего идеала»... Есть «обрусевшие французы», отнюдь не потому, чтобы они у нас нашли почву для любви к «la gloire»...[1] Но «офранцузившиеся русские» никогда не говорили себе: «С новым Наполеоном я или потомки мои дойдем до края света». Никогда! Нет такой мечты!!

Русские принимают тело, но духа не принимают. Чужие, соединяясь с нами, принимают именно дух. Хотя на словах мы и увлекаемся будто бы «идейным миром» Европы... Это только так кажется. Укажите «объевропеившегося русского», который объевропеился бы с пылом к «власти», «захвату», «грабежу», к «grafen» и «haben» как «грабить» и хапать»; чтобы мы немечились или французились по мотивам к движению, завоеванию, созиданию.

Мы надевали европейский сапог с мыслью, что он еще меньше будет жать ногу, чем «домашняя туфля». Но европейцы, когда снимали свой сапог, именно знали, что надевают «русскую туфлю», которая вообще нигде не жмет, но зато и не есть, в сущности, обувь. Они — отреклись; мы — «паче себя утверждали». Вера Фигнер перешла в социализм, когда увидела в Казани оскорбленным администрацией своего любимого учителя (см. ее «Воспоминания о Лесгафте»). Вот русский мотив. Но я не знал немца, который, принимая православие, думал бы: «Теперь у меня пойдут лучше занятия философиею», или «станет устойчивее фабрика», или «я что-нибудь сочиню даже выше Фауста». Мотивы немецкие исчезли; но у русских русский мотив (жалость, сострадание) усилился (т. е. когда они переходят в европейство).

Печорин, странный идеалист 40-х годов, перешел в католичество. Что же, он стал «строить козни» лютеранам? А он поступил в иезуитский орден. Нет, он сделался «братом милосердия» в одном из ирландских госпита-

[1] Слава *(франц.)*.

лей. «Русский мотив» усилился.

Весь русский социализм, в идеальной и чистой своей основе, основе первоначальной, — женственен; и есть только расширение «русской жалости», «сострадания к несчастным, бедным, неимущим», к «немошным победить зло жизни». (Смотри разительные «Записки» Деабгория Мокриевича). Но все это — мотивы еще Ульяны Осоргиной, о которой читал Ключевский в своей лекции «Добрые люди Древней Руси». Смотри также женские типы Тургенева («собирала больных кошечек, больных птичек» Елена) или у Толстого, в «Воскресении», типы «политических», идущих в Сибирь: «дайте, я понесу вашего больного ребенка; вы сами устали». А социализм — европейская и притом очень жесткая, денежная и расчетливая идея (марксизм).

И в «дарвинизме» русских втайне увлекало больше всего то, что он «сшиб гордость у человека», заставив его «происходить вместе с животными и от них». «Русское смирение» — и только. Везде русский в «западничестве» сохраняет свою душу; точнее, русский вырывается из «русских обстоятельств», все еще для него грубых и жестоких (хотя они несравненно «женственнее» западных), — и ищет в неясном или неведомом Западе, в гипотетическом Западе, условий или возможностей для такого высокого диапазона русских чувств, которому в отечестве грозит «кутузка».

* * *

Западным людям русская литература открыла эру нового нравственного миропорядка. Замечательно, что русские никогда не увлекались нравственными характерами западных литератур, если это не были характеры, «дополнительные для русской души»... Например, Корделия увлекательна, но она есть олицетворение жалости к отцу. Герои Диккенса увлекательны, но это все есть «бедные люди» Достоевского и даже скромный герой гоголевской «Шинели». Нужно заметить, что Диккенс «пел» и любил не типичные английские идеалы, не людей «бифштекса» и гигантской работы. Сам Диккенс был изменник родины и «почти русский писатель» (см. Ульяну Осоргину в Древней Руси). Оттого его на Руси и любили. Но «королей» и «министров» из Расина, Корнеля, из Виктора Гюго, из Дюма — никогда не любили, предпочитая им «воришек» из Эженя Сю. Заметив это, обратимся к Западу. Он преклонился вовсе не перед художеством русских писателей, довольно неуловимом в переводе, но перед новым нравственным миропорядком, какой открывался просто картинами русской жизни и характерами русских людей. Минувший год в Наугейме мне пришлось не самому слышать, но через третье лицо услышать рассказ о том необыкновенном и исцеляющем действии, какое русская литература производит на иностранцев, на американцев, немцев, англичан «в несчастии»,

в «ломке жизни», в «крушившейся судьбе».

— Я не знаю, что у нее... Она постоянно печальна. Подолгу и часто она говорит со мной о русской литературе, больше всего о Тургеневе. Она знает мельчайшие его вещи, знает незаметные его афоризмы. И вот, как Тургенев смотрит на жизнь и на человека — это неизъяснимо ее волнует, привлекает и, видимо, утешает, успокаивает. Она приводила мне места из его «Фауста» и из «Романа в девяти письмах», каких я и сама не заметила. А я знаю Тургенева и люблю его.

В Мюнхене, позднее, мне приводилось слышать от шведов:

— Мы же знаем русскую жизнь, потому что мы читали Толстого. И ваши деревни, и ваши мужики, и ваша религия — не чужие нам.

В самом деле, «литература — жизнь». Особенно у нас, особенно в «натуральной школе» нашей... Знают литературу — и им открылась вся громада нашей жизни... ленивой, тихой, незаметной, глубокомысленной.

«В самом деле русская туфля не жмет».

Есть ли во всей русской литературе хоть одна страница, где была бы сказана насмешка над «оставленною девушкой»? над ребенком? матерью? над бедностью? «Вор», — и тот в «честных» («Честный вор» у Достоевского). Русская литература есть сплошной гимн униженному и оскорбленному. И так как таковых множество всегда, везде, множество в гордой и гигантски работающей Европе, то можно представить взрыв восторга, когда всем им показана страна, показан целый народ, где никогда никто не смеет обидеть «сиротку» не в имущественном, а вот в нравственном смысле, — обидеть «убогого» по положению, по судьбе, по «ломке жизни». Таких слишком много. Что им скажут «короли» Гюго, да и вообще слишком явно «выдуманные сюжеты» западной обычной беллетристики. Но русские рассказы, — тоже «обычно» из настоящей жизни, с несомненными чертами в себе «подлинной верности с действительностью», — могут дать утешение: «Есть страна, целый огромный народ, неизмеримого протяжения, где я не была бы презираема», «не была бы так грубо оскорблена», где всякий «заступился бы за меня», где «взяли бы меня за руку и поставили на ноги». — «Я — окаянная, но — в нашей стране, а не во всей планете».

Вот действие русской литературы: оно многозначительно не по отзывам западной критики, не по шумной ее славе, не по осязательным триумфам, а по неосязательному, по не учитываемому нигде и никем сродству с душой простого читателя, повсеместного читателя, в известном строе этой души, в известном ее положении... «Кому-то русская песня всегда нравится...» Нет — больше, лучше: «Есть души, которым русская песня одна нужна на свете, милее всего на свете, как ушибленному — его мать, как

больному ребенку — опять же мать его, может быть, некрасивая женщина и даже не добродетельная женщина». «Добродетели» с русских, конечно, странно спрашивать... «Тройка»... Но вот что есть всегда на Руси: отзывчивость. Она может быть даже оттого и создалась на Руси или преувеличилась на Руси, что слишком уж многих и повсеместно давят разные «тройки». Как бы то ни было, но «убаюкаться на Руси» многим хочется... Ну, и надеть наши «туфли»...

* * *

«Женственное» — облегает собою мужское, всасывает его. «Женственное» и «мужское» — как «вода» и «земля» или, как сказано, — «камень точит воду». Он ей только «мешает» бежать, куда нужно, «задерживает», «останавливает». «Мужское» во всяком случае — сила; и она слабее ласки. Ласка всегда переберет силу. «Тевтонское нашествие» упало бы в «Русь», как глыба земли в воду. Замутило бы ее, расплескало бы ее, но, в конце концов, растворилось бы в ней. «Русская стихия» осталась бы последнею и поверх всего. Вильгельм и Бисмарк естественно имели точку зрения «военачальническую» и вообще «начальническую»; но есть еще точка зрения «подданническая». Вот она-то и важна. Она была совсем не видна ни Бисмарку, ни Вильгельму. Заприметь они ее, они бы поняли, до какой степени «сон Вильгельма» несбыточен, невозможен и даже смешон. На Русь пришли лютеране Даль, Гильфердинг, Саблер; к сожалению, не умею назвать немецкую фамилию Востокова. И поразительно, что они все не только потеряли «свое немецкое», придя на Русь, с каковою потерею, естественно, потускнели бы. Этого не случилось, а случилось другое: — они расцвели, стали ярче, сохранив всю деловитость и упорядоченность форм (немецкое «тело»), но пропитав все это «женственною душою» Востока... В конце концов оставили и свою религию, приняв нашу восточную — без стеснения, без понуждения, даже без приманки, сами. Решительно невозможно себе представить, чтобы русский, придя в Германию, стал «ух какой вахмистр!». Т. е. немецкую душу совсем не принимают русские, а только — формы. Таким образом, на слова Франца-Иосифа, что он «предпочел бы стоять часовым у немецкой палатки, чем сделаться славянским королем», можно ответить: «Ну, ваше величество, сколько мы знаем случаев, что немцы предпочитают служить коллежскими секретарями у нас, чем у вас в полковниках». Как все это сделалось? Как случилось? Почему Саблер сделался энтузиастом консисторского делопроизводства? Почему Даль, чиновник в петербургском департаменте и лютеранин, стал собирать пословицы, поговорки и, наконец, весь «живой говор» Руси? Почему Шейн всю жизнь пробродил по селам и деревням, соби-

рая самые напевы, самые мотивы бытовых, свадебных, похоронных песен?? Он, талмудист-еврей?! Отчего Гершензон в Москве с такой любовью реставрирует всю старую литературную Русь? «Женственная душа» и немножко «туфля» (должно быть, тоже не мужского покроя) везде прососались, отнюдь не разрушая мужских ихних «форм», мужского «тела», но паче его укрепляя и расцвечивая. Решительно, — они работают по формам, по приемам лучше русских. Оттого Саблер и дошел до обер-прокурора: дело не малое. Но работают в русском духе, для русских целей. Работают в точности и полно русскую работу. Вот ряд маленьких mizacula ethinica[1], приняв которые во внимание, можно ответить и Бисмарку, и Вильгельму, и Францу-Иосифу, как тот мужичок в лесу:

— Ничего, барин... Вызволимся как-нибудь.

1911 г.

[1] Чудеса этики (*лат.*).

Протоиерей
Евгений Касаткин



КРОНШТАДТСКИЙ СВЕТИЛЬНИК

20 декабря (по старому стилю) 1908 года скончался великий молитвенник земли русской, скромный по жизни, но высоко чтимый народом за высоту духовной жизни, кронштадтский протоиерей Иоанн Ильич Сергиев (Иоанн Кронштадтский). Потеря в его лице великого молитвенника земли русской казалась грозным предзнаменованием. Известный в то время публицист Сергей Нилус писал: «Смерть о. Иоанна Кронштадтского... представляется мне тоже знамением сокровенного и грозного значения: от земли живых отъят всероссийский молитвенник и утешитель, мало того, — чудотворец, да еще в такое время, когда на горизонте русской жизни все темнее и гуще собираются тучи... и одной ли только русской жизни? Не мировой ли?» (Нилус С. На берегу Божией реки). В 40-й день поминовения почившего светильника Святейшим Синодом было определено: «совершать всеобщее молитвенное поминовение почившего, приснопамятного протоиерея Иоанна, ежегодно ознаменовывая им день кончины его». Так высоким признанием ознаменовала церковь жизненный подвиг этого пастыря. Почитание в народе кронштадтский светильник стяжал своей любовью, выступая как живое олицетворение милосердия к страждущим, больным, бедствующим, как прекрасный проповедник, как целитель души и тела многих недугующих людей. После 1918 года в нашей печати Иоанн Кронштадтский изображался как мракобес, монархист, черносотенец. Но насколько обоснована такая позиция? Был ли он монархист? Безусловно. Но в те годы кем еще мог быть русский православный священник? Социалистом, революционером или республиканцем? Да и не только священник. Ведь в учебных заведениях того времени воспитывали в монархи-

ческом духе. Верность царю и Отечеству была синонимом патриотизма. Может быть, он был реакционером или консерватором? Да, но не в большей степени, чем Достоевский, Леонтьев и другие. Политические вопросы не играли в жизни Иоанна большой роли. Еще менее основательно обвинение его в черносотенстве. Да, он был почетным членом Союза русского народа, освятил его знамя. Но обвинение в черносотенстве рушится, если учесть, что кронштадтский пастырь решительно выступал против всякого рода погромов. В 1903 году разразился погром в Кишиневе. Иоанн Кронштадтский обратился через печать: «...русский народ, братья наши! Что вы делаете? Зачем вы сделались варварами — громилами и разбойниками людей, живущих с вами в одном отечестве, под сению и властию одного царя... Зачем допустили пагубное самоуправство и кровавую разбойничью расправу над подобными вам людьми?»

Биография отца Иоанна проста и не изобилует фактами. Родившись 1 ноября 1829 года в селе Сура Пинежского уезда Архангельской губернии в семье псаломщика, детство он провел в северной сельской глуши в большой бедности. В семье он видел прекрасные примеры благочестия и доброжелательности к людям, молитвенности и благоговения. На высоту христианской жизни уже с детства отрок Иоанн восходил подвигами испытаний и терпения. Крестили его в ночь рождения, опасаясь, что по слабости здоровья он не выживет. Действием полученной благодати телесные силы мальчика постепенно стали крепнуть. Однако умственное его развитие шло очень медленно. С большим трудом Иоанн научился из букв складывать слова. В Архангельском приходском училище учеба давалась настолько трудно, что ученик впадал в отчаяние. Но горячая детская молитва и упорный труд сделали свое дело. Во время одного из ночных молений Божественная благодать осенила его. С того момента, по словам отца Иоанна, «завеса спала с его очей» и он из худших учеников становится лучшим. После училища Иоанн с отличными успехами прошел семинарский курс, после чего на казенный счет учился в Петербургской духовной академии. По окончании академии он был назначен священником в Кронштадтский Свято-Андреевский собор, где прослужил, не сменяя места, 53 года. Видя с детства бедность и нужду, о. Иоанн на всю жизнь проникся жалостью ко всем страждущим, несчастным, больным и нуждающимся. Кронштадт в то время представлял собой морскую крепость и военный порт. Вместе с тем это было место ссылки мелких воров, бродяг, пьяниц, нищих, живших на окраи-города в землянках, лачугах и срубах. В этом соприкосновении начал свою деятельность начинающий священник. Особенно он ужаснулся положению детей, растущих в этой среде, голодных, больных, невежественных и оз-

лобленных. Знаменательно, что именно в такой среде начался подвиг милосердия и молитвы о. Иоанна по слову апостола: «Где умножилось беззаконие, преизобилует благодать» (Рим. 5, 20). Здесь проходит полувековой подвиг великого светильника. На первых порах отец Иоанн сам разыскивал нуждающихся: бедных, больных, несчастных. Но вскоре нужда народная стала тянуться к доброму пастырю, который стал подлинно народным священником. Жалость к нуждающимся в помощи, наследованная с детства и испытанная на себе, возросла в великое милосердие кронштадтского пастыря. Благотворительность отца Иоанна не знает границ. Чем шире она развертывается, тем более притекает для нее пожертвованных средств. Через его руки прошло примерно тридцать миллионов рублей, но сам он жил очень скромно. Эти деньги раздавались нуждающимся на улице и на дому, в храме по инициативе отца Иоанна и по просьбе бедняков. На эти же средства организовывались благотворительные заведения, особенно замечательным из которых был кронштадтский «Дом трудолюбия». В нем была устроена церковь и три больших здания для призрения бедных. Кроме того, были учреждены и содержались ночлежные приюты на 300 человек, народная столовая, кормившая до 600 человек в день, богадельня, лечебница; устроены народные чтения, библиотека, даровая книжная лавка, детская библиотека, начальные училища на 350 детей, рисовальные классы, детский приют на 100 сирот. Борясь с пороками, особенно с пьянством, отец Иоанн не делал какого-либо анализа причин этих явлений, а лечил словом и молитвой, взывая к остаткам веры человека и его совести. Он понимал, что, только действуя через эти человеческие качества, можно добиться результатов.

Знаменательно, что в начале своей деятельности отец Иоанн намеревался, приняв монашество, посвятить себя миссионерской деятельности. Но затем он увидел ниву невозделанную рядом с собой, в народе, нуждающемся в просвещении, помощи духовной и материальной, в духовном окормлении. Его деятельность явилась миссионерством внутри России. Своей целью отец Иоанн ставит пробуждение духовности и совести, веры и надежды у своих прихожан, в основном бедняков, нищих, пьяниц, калек. Такие масштабы милосердия и пастырской душепопечительности требовали много времени и сил. И отец Иоанн находил их. А повышенным здоровьем и избытком сил он не отличался! Когда его спрашивали, откуда он черпает силы на все это, он отвечал: «Сила Божия в немощи совершается». И действительно с раннего утра до позднего вечера о. Иоанн не знал отдыха. Не имел определенного времени для еды, на ходу, бывало, перекусит, что предложат в каком-либо из посещаемых им домов с больными и страждущими, и это — на весь

день! После ежедневной литургии он обходил дома и квартиры, в которые он был приглашен и в которых его ждало множество народа. Его молитвы исцеляли многих болящих и выводили из состояния бедствия многих терпящих их. После этого отец Иоанн ехал в Петербург для продолжения подобного же труда. Возвращаясь из Петербурга, он в купе вагона набрасывал свои мысли, плод духовного опыта, составившие потом его основной труд «Моя жизнь во Христе». Приезжая домой поздним вечером, он заставал до тысячи писем и телеграмм с просьбой о молитве за тяжко болящих, оставленных врачами, о молитве об избавлении от бед, о материальной помощи. Говорят, не было ни одного случая, чтобы предстательство пред Богом за людей у отца Иоанна было тщетным. Трудился этот великий молитвенник порой по двадцать часов в сутки. Итак, представьте себе человека, который в течение пятидесяти с лишним лет изо дня в день, без отдыха, отказывая себе в самом необходимом — в пище и питии, всегда и во всем служит только для других, который пребывает постоянно в молитве и силою своих молитв совершает столько видимых чудес. На этом фоне блекнет внедрявшийся в наше сознание искаженный образ русского попа — толстого, жадного, хитрого и уж, конечно, богатого. Это далеко не так. Среди русского духовенства были и богатые, и среднего достатка, и бедные. Вспомним из истории русской литературы писателей-разночинцев, выходцев из духовенства (в среде интеллигентов их называли «поповичами»). Один из них, Помяловский, в своих «Очерках бурсы» писал: «Русские священники, диаконы, причетники — представители православного пролетариата... У них нет собственности. До поступления на место наш поп гладен и хладен... он умирает всегда с тяжелой мыслью, что сыновья и дочери его пойдут по миру».

Откуда же черпал отец Иоанн эту сверхъестественную силу для его титанического труда? Сам он видел источник этой силы в том благодатном воздействии, которое ему давало ежедневное служение литургии. Ему была дарована высшая сила христианина — дар помогающей, исцеляющей молитвы, очевидцем которого была Россия конца девятнадцатого—начала двадцатого веков. Присутствие этого дара влекло к нему людей как к живому свидетельству небесных сил, как к живому знаку того, что Небеса живы и благодатны. Отец Иоанн явился личным свидетелем истины религии, и религии нашей русской православной: он «доказал религию» воочию тем, что он — молился и исцеление наступало. В докладе к 80-летию блаженной кончины отца Иоанна в Ленинградской духовной академии духовник академии архимандрит Кирилл (Начис) так отмечал эту сторону значения кронштадтского светильника: «Эта — вторая, последующая часть его народного

значения чрезмерно превысила первую, собственно благодатную и целебную. Он стал вождем уверования, стал воскресителем веры; он поднял волну религиозности в народе».

Не только в первой, но и во второй части своего значения Иоанн Кронштадтский во все часы дня и ночи, круглые сутки был пастырем милосердным, молитвенником и подвижником. Если в мире генерал, адвокат, учитель — таковыми были только на службе, а дома они были рядовыми людьми, мужьями, отцами семейства, просто отдыхающими или развлекающимися людьми, то отец Иоанн круглые сутки был пастырем-молитвенником. Дав себе необходимый 4-часовой отдых в сутки, он весь день, с раннего утра до поздней ночи на людях и на ногах. Жизнь его не делится на общественную и частную. Итак, силы для пастырской деятельности отца Иоанна были благодатными и черпались из ежедневно совершаемой литургии. Религиозный подъем духа этого великого пастыря был «секретом его жизни». Это и порождало дар чудодейственной молитвы. Сердцевиной своего служения о. Иоанн считал ходатайство за людей пред Богом, посредничество между Богом и людьми, умилостивление Бога, мольба о помиловании людей — подвиг пророка Моисея. В полной мере это ходатайство раскрывается в служении литургии. Ее отец Иоанн служил с силой, восторженно, громогласно, дерзновенно. Велико было его восхищение Святыми Дарами! Для него здесь — Сам Христос! Сам Бог реально! Здесь вся суть его жизни. Если вообще о священниках должно судить не по домашней обстановке, а следует смотреть: каков он на богослужении, в алтаре, особенно при совершении Евхаристии, то тем более это приложимо к отцу Иоанну. На литургии в нем «все горело духовно и трепетало». Такое стояние перед Богом о. Иоанна производило явные плоды праведности, свидетельства о которых обильны. Здесь происходило восхождение о. Иоанна на высшую ступень духовности. Многое чудодейственное совершалось по молитвам о. Иоанна. Это было плодом его святой жизни и особого облагодатствования Духом Святым, плодом дерзновенной молитвы и христианской любви. «Будь решителен на всякое добро, — особенно на слово ласки, нежности, участия, а тем более — на дела сострадания и взаимной помощи», — говорит отец Иоанн. «Молитва священника, — учит он, — имеет великую силу у Бога... Дай Бог, чтобы было больше священников, молящихся Богу горящим Духом, ибо кто помолится о верующих, как не священник, «получивший благодать и власть от Самого Бога!?»

В то же время цель человеческой жизни кронштадтский пастырь видел не в чудесах, а в исправлении человека, в подготовке его к вечности. Священники через частое причащение Святых Таин сподобляются целого моря благодати Бо-

жией. И им отец Иоанн заповедует разливать ее шире и шире, а не удерживать ее только в себе и тем более не злоупотреблять ею своею недостойной жизнью или молчанием. Он должен умножать ее как талант, данный Богом во спасение и блаженство его и людей Божиих и во славу Божию. Эта мысль маститого пастыря становится оживляющей, если представить, что все православные составляют одно духовное царство Божие, одну церковь, один дух, что во всех царствует Бог и во всех живет Дух Божий. «О, если бы во всех царствовал Бог!.. — пишет отец Иоанн. — Какое было бы восхитительное зрелище на земле! Как бы все были благополучны и довольны! Надо усердно молиться об этом, особенно за литургией. Чудна Божественная литургия православной церкви по той широкой любви, которою она объемлет весь мир! Не только земной, но и небесный!» Он обращает внимание священников на то, какое в их руках «средство к умилостивлению Бога о всех людях, о всем мире! Только сами молите крепко Господа, чтобы вам достойно совершать это чудное таинство». Оно удивительно обновляет, укрепляет, очищает, ободряет. По своей высоте литургия — это «небесное служение», страшное и ангелам, вершина христианства. «Холодность наша к литургии есть страшный знак нашего омертвения... Литургия — самый лучший пробный камень душевного нашего состояния: живы ли мы, или мертвы?» Литургия есть «райское жительство», в котором «наслаждаются, благодарят и славословят». Молитвы этого великого служения составляют «постоянное благодарственное настроение», «...пребывание с Богом и святыми... предначатие вечного славословия вместе с ангелами»... Литургия носит характер хвалебный. Она есть торжественный гимн Богу, Победителю греха и смерти. «Всякое богослужение есть торжество благодати». ...Но спасение, совершенное Искупителем однажды, теперь повторяется на каждой литургии. Поэтому она есть одновременно искупительная и благодарственная жертва: жертва любви Бога к человеку и ответной любви человека к Богу, Спасителю.

Те же переживания выражаются отцом Иоанном в наименовании литургии «вечерею любви» или «браком Агнца», а брак — это радость и веселие, с которым сравнивается пренебесное общение душ с Богом. Он плавал в ней, переполнялся, погружался, пресыщался, проявлял восторг общения с Богом, восхищение единением Бога с людьми. Мы, земные люди, обычно и везде ищем каких-либо «благ», пользы себе. Но святые люди обо всем забывали, кроме «единого на потребу» — жизни в Боге, любви к Нему и Его к нам. Сами переживания, связанные с содержанием литургии, само совершение ее, общение с Богом были для отца Иоанна величайшим благом. «Служить Богу — блаженство само по себе», — гово-

рит он. Думается, что если бы спросили его, какова польза от литургии, то это вызвало бы у него недоумение и грусть. Если ни на небе, ни на земле нет ничего выше, лучше, блаженнее, то о какой пользе может идти речь?! Уже все дано. Высочайшее благо для христианина — это Бог в сердце. Плоды литургии обширны. Она христианина «обновляет, укрепляет, очищает, ободряет; и она есть для меня величайшее благо в жизни», — говорит отец Иоанн. В ней «вся жизнь нашей души... ее родина, ее жизнь, ее святыня, ее воспитание, врачевание, пища и питие, ее сила, ее слава». В ней «человек непрестанно восстанавливается, обновляется, спасается Пречистым Телом и Кровью Христовыми обожается... Как? Через единение с Богом». «И я многогрешный, — смиренно пишет о себе батюшка, — обязан всеми днями моей благополучной жизни только литургии». Он опытно ощущал оживотворение после причащения. Отсюда и сила творить чудеса. Именно поэтому древние христианские мученики старались причащаться перед пытками, в чем их убеждал священномученик Киприан, епископ Карфагенский. В процессе совершения литургии сослуживцы наблюдали, как отец Иоанн все более и более оживлялся не только душой, но и телом, в движениях, в лице, которое становилось розоватым и одушевленным; он весь наполнялся жизненной силой. Евхаристия для него была «Чашею Жизни». «Грешники! — призывает он. — Притекайте чаще в Храм, как во врачебницу: и уврачуетесь и спасетесь». Великий молитвенник писал, что «горящий уголь» Тела и Крови Господней, принимаемый иереями и мирянами, в причащении попаляет грехи их. В минуты причащения нужно сочетать в себе и сокрушение, и надежду, и покаяние, и бодрое упование. «Не унывайте, — призывает отец Иоанн. — ...Уважайте друг друга, грешники, и не презирайте никакого грешника: ибо все мы грешники; и всех пришел спасти и очистить и до неба вознести Сын Божий!» Какая бодрящая сила в этих словах! «Никогда,—говорит он, — не отчаивайся в милости Божией». «Только сердцем сокрушенным и духом смиренным покайтесь... Слава долготерпению Твоему, Господи!» В другом месте кронштадтский пастырь призывает повергать «свои грехи пред лице этой Жертвы» (Евхаристической), ибо таинство причащения дано именно «во оставление грехов». Великий праведник Божий видит в даре причащения две стороны: прощение грехов и оживотворение души (одно неотделимо от другого).

Пользу литургии отец Иоанн видел в том, что ее действие распространяется не только на участников ее, но и на отсутствующих и даже на весь мир, за который и совершается она. «Жертва бескровная и молитвы приносятся Господу... о всей вселенной». Служитель литургии — это печальник о всем мире. Сама же литургия — это «противовес и

отпор для верных постоянному растлению, господствующему в мире». Если бы мир не имел Евхаристии, то он не имел бы блага истинной жизни, а «имел бы лишь призрак жизни». «Приемлют от нее пользу и умершие наши или преисподние». С помощью литургии можно вымолить все. В этом смысле литургия — «рычаг мира». «Для верующего нет ничего невозможного». Литургия есть «преддверие неба», а церковь, руководящая нас к спасению, через служение в которой священнослужитель в земных условиях временной жизни общается сам и приобщает верных к вечности, есть «небо на земле».

Таково отношение отца Иоанна к Божественной Литургии, которую истово, благоговейно, восторженно и действенно он совершал. Принято считать, что история церкви, даже в лице святых ее, никогда не знала такого восторженного поклонника и совершителя литургии. «Нет ничего, — говорил он, — выше и более литургии — ни на небе, ни на земле». При правильном восприятии ее (литургии) она соделывает человека праведным. Но кто, как не Иоанн Кронштадтский, глубоко, живо и благоговейно воспринимал её? Литургия была — его жизнь. Одно это уже составляло праведность кронштадтского пастыря. Даже если бы не имели место случаи многочисленных исцелений и чудес, совршенных молитвою сего праведника, не оскудела бы высота подвига жизни отца Иоанна.



ДЫБОВСКИЙ О КУЛТУЧАНАХ

I. Култук. 1989 год

В конце августа электричку, идущую воскресным утром на Слюдянку, переполняют грибники, ягодники. Нам с Е. В. Дорогостайской удается все же найти место среди людей и горбовиков. Живет Евгения Витальевна в Ленинграде, но Иркутск для нее — родной город. Отец, профессор Иркутского университета Виталий Чеславович Дорогостайский, в двадцатые годы возил ее на южный Байкал. У самого берега славного моря стоял еще тогда в Култуке дом, который был для исследований Б. И. Дыбовского базой в 1869 году. Те работы, оказавшись поразительно разносторонними и плодотворными, взорвали бытовавшие представления об исключительной бедности жизни в Байкале и на его берегах. За них присуждена Бенедикту Ивановичу в 1870 году золотая медаль Русского географического общества.

Увы, дом, где жил и работал Дыбовский, уже не существует. Когда заполнялось Иркутское водохранилище, на метр поднялся уровень Байкала. Здание перенесли, а на новом месте оно быстро разрушилось, хотя построено в 1852 году из лиственничных бревен, для которых полтора века не возраст. А Култук за это время разросся. Рядом с тем местом, где когда-нибудь памятник расскажет о снесенном доме, теперь построен причал с горами угля на нем. Зубчатые стены Хамар-Дабана отчасти скрывают дым из труб Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

А как изменились за сто двадцать лет сами култучане? В тот воскресный день, когда мы с Евгенией Витальевной прибыли в поселок, нам пришлось обращаться с разными вопросами ко многим жителям — юным, среднего возраста, пожилым. Любой вопрос вызывал у встречных желание не только ответить, но и помочь, не считаясь со своими де-

лами. Проводили нас к дому учительницы истории Е. В. Барковой, она сразу согласилась показать нам школьный музей, основанный еще в 1972 году тоже преподавателем истории А. И. Комиссаровым. Стенды музея невелики, но многие экспонаты уникальны, они говорят и о тех подвижниках науки, судьба которых оказалась связана с Култуком.

Затем беседовали мы о Байкале и байкаловедах в гостеприимном доме Литвиненко на Партизанской улице. Виктор Федорович в прошлом шофер, Валентина Федоровна — учительница младших классов, теперь оба на пенсии, занимаются домашним хозяйством. Рассказала Евгения Витальевна, что она ботаник, кандидат наук, собирает материалы об истории изучения славного моря, о своем отце. Виталием Чеславовичем основана первая постоянная станция гидробиологических исследований на Байкале (в Больших Котах), ему обязано появлением первое судно флота науки на озере-море («Чайка»)... Переписывался Виталий Чеславович с Дыбовским, часть переписки Е. В. Дорогостайская опубликовала. Совсем недавно ею обнаружены в архиве Лимнологического института письма Бенедикта Ивановича за вторую половину 1926 года, адресованные Г. Ю. Верещагину. Хотя Дыбовскому исполнилось к тому времени уже 94 года, он живо обсуждает целый ряд проблем, волнующих сибиряков, вспоминает Култук и его жителей — особенно подробно во втором письме.

Ученый постоянно вел дневник, поэтому его свидетельства о култучанах основаны на записях, которые сделаны сразу, по горячим следам. Письма являются документами, которые дают представления о той обстановке, людях, что окружали выдающегося исследователя в его звездный час. Талантливый биолог был одарен и как писатель-этнограф, хотя некоторые грамматические отклонения в тексте говорят, что на родном польском языке изъясняться для Бенедикта Ивановича было бы легче.

Звездой первоначальной величины был Бенедикт Иванович Дыбовский среди ученых своего времени. Но исследования не мешали ему с большим интересом всматриваться в окружающих его людей. Теперь, сто двадцать лет спустя, мы получаем возможность его глазами увидеть живущих на Байкале сибиряков прошлого века — не всегда удачливых, но симпатичных, сметливых, работящих. Символично и живое участие, которое принимал Дыбовский в судьбе култучан, вместе с «одним из лучших людей мира сего» священником отцом Иоанном выручая их из беды.

2. Култук, год 1869. (Дыбовский работал в поселке с конца 1868 по 1872 год, затем с конца 1875 по 1876 год).

Из письма от 13 июля 1926 года: «Мне помнится 1869 год, когда наступило осенью поднятие

уровня вод Байкала слишком на 2 м. Мы тогда, живущие в Култуке, сообщили Сибирскому отд. Географ. общества о возможности бедствий для жителей Иркутска, и действительно так случилось, как это записано в летописи города...»

Из письма за 15 ноября 1926 года: «Семейство Гаврилова в Култуке помню... хорошо... — дома Пермитина (где жил Дыбовский: *Б. В.*) и Гаврилова стояли рядом в ближайшем соседстве. Старый дед Сергей был тогда седым стариком, но еще ярым... Сын его женатый, отец 4 детей: Манька, Дунька, Сергей и Норка (Никифор). Жена Николая, весьма симпатичная женщина, занималась хозяйством и руководила всеми, она половину своего дома отдала внаем таможенному начальнику Чикулаеву Николаю. Этот начальник составляет единственное исключение на земном шаре — честностью и безвзяточничеством своим. Я не знаю ни одного чиновника, служащего при таможне, — честного, за исключением Чикулаева. ...Имел он две крестницы, дочери его сестры. Одной из них было имя Клеопатра. Младшие дети Николая Гаврилова были постоянными гостями у нас. Дунька и Норка, они собирали все, что было живым вокруг них, от тараканов-прусаков до Карабус вьетингофии и Карабус смарагдинус (жуки-жужелицы. — *Б. В.*), от земляных червей до Саламандрелла кейсерлинги (сибирский углозуб, представитель отряда хвостатых земноводных животных. — *Б. В.*) и т. д. Когда мы, Годлевский и я, вернулись с Дальнего Востока на Байкал (в конце 1875 года. — *Б. В.*), дети выросли. Дуньку взял за дочь свою генерал Шац (пока он был полковником), его называли култучане Шацов, но как стал генералом, его величали «ваше превосходительство» и, разговаривая с ним, стояли навытяжку без шапок. Норка стал парнем, его учил Годлевский парусному плаванию на Байкале, не боялся воды и стал для нас необходимым товарищем, мы втроем совершали парусное плавание до Прорвы и обратно. Эту поездку я описал подробно в своих памятниках. Вообще говоря, култучане составляют особый вид сибиряков, я их описал подробно и при отъезде из Сибири вручил манускрипт делопроизводителю... вместе с манускриптом Черского.

Здесь для возможности дать Вам понятие о тех обстоятельствах, которые связали нас с Гавриловым, сообщу следующее:

1) Ведение хозяйством нашим мы поручили молодому человеку Владиславу Ксенжопольскому, дав ему возможность занятия продажей разных предметов, он и устроил лавочку. Мы открыли ему кредит у иркутских купцов, доходящий иногда до 500 р. Ксенжопольский оказался гениальным купцом... Разыскал старуху, весьма умную и обладающую удивительной памятью, — истинное сокровище для фольклора, которым я занялся по вечерам, когда иные работы прекращались. Я собрал песни, сказ-

ки и пр. у култучан.

2) Только благодаря П. П. Павлищеву мы успели сыскать дозволение поселиться в Култуке, он взял нас под свою ответственность, снабдил открытым предписанием и обещал прибыть лично на место нашего нового жительства. После начатия работ на льду озера мы не оставляли шнуров на озере, привозили домой и развешивали на огороде. Одного дня случилось, что украдено было два свитка по 100 метров. К счастью, этого дня утром прибыл П .П. П. Я рассказал ему о случившейся краже... Сделан обыск и найдены почти целые свитки еще на месте, но разрубленные на куски длиною вожжей. П. П. П. созвал сходку артели селения и объявил, что всякая кража у нас будет строго наказана. Ныне же... велел... поехать в селение Веденщина и купить 2 свитка шнура по 100 м длиною, и оные будут за украденные. Разрубленные могут оставить в руках воров. На другой день мы получили 2 свитка, расписались в получении и с тех пор оставляли шнуры на озере и никакой покражи не получалось.

3) Николай Гаврилов, отец Сергея, — веселый человек, любил «погулять»... При старательности жены своей дела его хозяйственные шли хорошо, он имел несколько троек хороших лошадей. Сбруя лошадиная и повозки были содержаны в порядке. Сам он возил только знатных вельмож, всех других возили ямщики, один слеповатый Эмильян, другой молодой парень Иван, сын Гаврилова. В днях гулянья проводил время большей частью в кабаке Шишкина.

4) Золотницкий, начальник почты, заведующий всеми станциями кругломорской дороги, вопреки порядка законного, был владельцем на этом тракте. Только он на всех станциях единственный начальник. Делил свои громадные доходы с почтовым начальством в Иркутске, держал в своих руках власть над правителями Култука, все волей-неволей подчинялись его неограниченной власти.

5) Отец Иоанн, священник при култукской церкви, один из лучших людей сего мира, он научал бесплатно детей в школе, его жена преподавала тоже бесплатно для девочек. Они составляли счастливую пару, посвятившую все свои нравственные и умственные силы служению ближним.

6) Не помнящие своего имени бродяги, их звали гвардией полковника Шацева, или генерала Шаца, — 12 человек составляли этот гвардейский отряд. Отличались они возрастом, силою, отвагой и специально плотническим и столярным искусством. Шац дал им свидетельство для рабочих плотников, они стояли под его покровительством. Заботы было достаточно. Каждая весна портила или даже сносила мосты, работники Шаца исправляли или строили новые. Обе стороны, полковник путей сообщения и рабочие, жили между собой в идеальной дружбе.

7) Через Култукское селение шла дорога, по которой тянулись группы беглых из нерчинских и шилкинских каторжных ссыльных. Эти «несчастные», запасшись одеянием, отдыхали здесь некоторое время. Местом отдыха служила старая часовня, стоявшая тогда у самого берега озера с правой стороны речки Мыдлянки. Там было в прежнее время кладбище. Волны Байкала забирали каждый год добрую часть берега, разрушали гробы и выбрасывали на берег кости человеческих скелетов.

Возвратившись из Дальнего Востока, мы нанимали квартиру у крестьян в доме, стоявшем почти насупротив часовни, и были часто свидетелями «челдонских пиров», к счастью не кончавшихся убийствами, которых свидетельством были человечьи кости, разбросанные вдоль тропы, ведущей круто навстречу с почтовой дорогой. Дорога с Култука в Иркутск не была безопасна. Поодиночке никто не ездил, а если нам случалась необходимость такой поездки, мы вооружались как бы на войну.

8) Я должен упомянуть о лицах, игравших известную роль в тогдашних событиях.

а) Николай Колодей «не помнящий», единственный человек католического вероисповедания. Он считал себя поляком, католиком, крестился по-католически, колодейское искусство довел до совершенства, все телеги и повозки култукские имели колеса его работы. Исполняя должность сторожа все время, когда здесь существовала фабрика, обрабатывающая лазурит, остался после закрытия фабрики, сторожил дом и остатки склада лазурита. Тихий, мирный и терпеливый человек, гениальный колодей, пьющий умно.

б) Шалапугин — славный охотник, постоянный спутник и вожатый Александра Лаврентьевича Чекановского по гольцам Хамар-Дабана, неисчерпаемый в выдумках торжественных походов и игр, «кум всех баб и сват всех девиц»... Самоучка-механик и строгий критик мостов Шаца.

в) Хахлаков. Можно его кратко оценить как мешок предрассудков, суеверий — но притом добрейший человек, а пьяница, каких мало... Только жена его, которая строго держала его в своих руках, умела охранить хозяйство. Имели 2 лошади, 2 коровы, несколько овец, 4 собаки-кобеля и одну суку. Та последняя была удостоена чести лежать в кровати вместе с хозяином. Хахлаков (так мы его называли по причине, что он сам себя считал по происхождению «хахлом») был нашим поставщиком убиваемых им птиц.

г) Кобелев считался в Култуке богатым, у него останавливался г. исправник П. П. Б.

Для полноты образа тогдашнего Култука прибавлю, что «чушек» и собак в нем было много...

Я Вам представил здесь в самых грубых контурах фон, на котором разыгралась страшная трагедия, разорившая култучан. Это

случилось в день перед Новым годом по старому стилю. Шалапугин обдумал торжественный хоровод с огнями и пушечной стрельбой. Все селение приготовлялось к этому торжеству выпивкой так, что можно просто сказать, никто из жителей не был трезвый. Чем ближе к полуночи, тем сильнее объявлялось состояние этого пьянства. Никто из култучан не предполагал, чтобы в этот день могла прибыть тяжелая почта из Иркутска. Неожиданно, вопреки здравого смысла, явилась почта на семи парах, ей сопутствовали два вооруженных чиновника, препровождающих высокую сумму денег, посылаемую кяхтинским купцам рублевою серебряной монетой. Каждая 1000 рублей помещалась в крепком цилиндрической формы кожаном мешке, к которому пришит шнур, он был обвит вокруг цилиндра. Дальнейшей упаковки денег не знаю. Неожиданность прибытия почты с деньгами протрезвила пьяные головы култучан, они просили Золотницкого, чтобы не высылал почты в темную ночь, обязывались поставить сторожей — умоляли этого негодяя. Просьбы и молебствия не помогли, велел подать семь троек: на последнюю взвалили все деньги и вооруженных почтовых чиновников. Эта последняя была тройка Николая Гаврилова с ямщиком полуслепцом Эмильяном. На всех прочих вожатыми были мальчики. Как бы предчувствием грядущих бедствий утихлось на улице. После полуночи нас разбудил плач громкий и рыдания толпы женщин на улице у ворот дома Н. Г. Мы послали Н. Колодея узнать, что случилось. Тот, возвратившись, принес известие: тройка Н. Г. и деньги утоплены, все тройки с тяжелой почтою вернулись обратно с дороги.

Староста телеграфировал исправнику о случившемся. Золотницкий выслал разные телеграммы. Вечером в первый день нового года прибыла комиссия почтового ведомства и приехал исправник. Дождались приезда комиссии генерал-губернатора, во главе которой стоял офицер, делегат от морского ведомства, он обязан был измерить глубину. Комиссия от топографического ведомства должна была определить точно место, в котором случилось несчастье. Комиссия судебного ведомства с прокурором во главе разыскивала виновника до времени прибытия всех комиссий. Установлена стража при месте гроба рублей. Эта стража должна была не дозволить замерзать воде.

Только на 4-й день назначено посещение места гроба для всех комиссий, вместе взятых. До этого места не дозволено запрягать более чем по одной лошади в кошевке, на санки садился только один пассажир. Приказано ехать рядом, а держаться на некотором отдалении друг от друга, и строго запрещалось иначе как шагом. Все члены почты исполнены были каким-то набожным страхом: садясь на санки, крестились и при каждом даже слабом треске льда выскакивали из санок, машинально крес-

тясь и объявляя, что безопаснее идти пешком.

Прибыв на место, отправляли поодиночке ямщиков с наказом добраться до отдали и не толпиться. Морской офицер приступил к измерению глубины, а топограф к своей работе. Вечером мы узнали, что найдена такая глубина, «где вода тверда, как утес», а по ней плавает ртуть «как деревянное масло на воде». Один Шалапугин оставался неверующим, члены разных комиссий верили слепо авторитетам.

Судебная комиссия начала допрашивать. Допрашивали всех — списывали показания, домыслы, догадки, объяснения; доходили до нас слухи, что все обвинения касались только Золотницкого. После тяжелого труда наступил отдых: обед приготовлял повар, привезенный из Иркутска вместе с разными наливками и очищенной Бутина. Отобедав, дремали, к вечеру садились за карточные столы, которые нашлись, доставлены с наливками: облепиховой, морошечной и пр. Так проводилось время разных комиссий в Култуке.

Шалапугин представил проект «драги». Она состояла из возможно толстейшего каната, вооруженного тяжелыми грузилами и мощными железными крюками с зарубками. Вместе с этой драгой у троса был ворот, посредством которого производилось таскание драги по дну — этим руководили делегаты почтового ведомства и морского, обязательно присутствующие при работе. Я лично сообщил г. исправнику, что в случае, когда нынешняя драга заденет кошеву и начнет тянуть ее кверху, та опрокинется и деньги пойдут ко дну, вытащат кошеву и лошадь без денег. Г. исправник махнул рукой и сказал: «Тут не помогут никакие замечания, их авторитет неоспорим».

4 месяца сряду (январь, февраль, март, апрель) тащили драгу вдоль и поперек громадной полыньи, содержимой работой култучан, помимо морозов всегда открытою, и ни одного раза не наткнулись на кошеву. Уже теряли надежду на успех, как неожиданно задели драгой кошеву. Неописуемая радость наполнила сердца всех, толпой спешили люди посмотреть собственными глазами на столь важное событие. Нашествие длилось целый день; уж поздним вечером при освещении фонарей поднялись пристяжные лошади на поверхность воды, обе лошади не были на дне, но как пузыри плавали над кошевой. Они были целы, гаммариды (рачки-бокоплавы. — *Б. В.*) их не тронули, зато коренная лошадь была вдавлена головой в ил дна. Гаммариды забрались под кожу и, можно сказать, мильярдами находились здесь. Кошева была цела, невредима, но денег в ней не было. Написан протокол, оставлены сторожа, и все свидетели события вернулись домой. Контрольные власти велели евезти «машины ловли» — драгу, ворот — и добытую кошеву, передав их на охрану старосте Култукского селения.

Суд окончательный производился в Иркутске. Результатом суда было соломоново решение, виноватый был Золотницкий. На тройке Гаврилова были потоплены деньги, Николай отвечает своим имуществом. Велено описать все имущество, оценить. Будет назначен день аукциона, вместе с тем будут продаваться и снасти ловные. Сумму, полученную от продажи, прислать в Иркутское казначейство.

Тут начались наши, т. е. мои и отца Иоанна, заботы... Отец Иоанн взял на себя обязанность уговорить Николая Гаврилова, чтобы совершил присягу на Евангелии не пить вина-пива и не играть в карты. А жителей селения Култука заставить закрыть все кабачные лавки — он успел все устроить, к нашей радости. Я сам поехал в Иркутск, где у моего приятеля Валериана Куликовского достал задаток на доставку кедрового материала для постройки двух домов. Валериан Куликовский был архитектором и строил прекрасные дома, одно- и двухэтажные. Лес кедровый по реке был доставлен. ...С деньгами вернулся я в Култук на публичные торги. Прибывших мошенников... не допустил г. исправник. Выкуплено все имущество Николая Гаврилова по возможности низким ценам — все пошло и кончилось благополучно. И, когда я осенью 1872 г. выезжал на Дальний Восток, все долги были уплачены, и радостное чувство сопутствовало нам...»

Из письма за 6 декабря 1926 года: «Я забыл Вам сказать в прошлом последнем письме, что жители селений Култука и Тунки происходят от белорусов, а не великороссов», мое мнение подтвердил фольклорист Ровинский. Я обратил его внимание на одно мною замеченное обстоятельство, что кутлучане не употребляют «матерных ругательств» и что у них в рубахах нет «косых воротников». Уговорите кого-нибудь из сотрудников Ваших, всего лучше женщину, чтобы занялась собиранием песен и басен култучан. Наверное, найдется еще какая-нибудь из Гаврилих, которая будет в состоянии облегчить сказанный труд».

Публикацию подготовил
Борис Вержуцкий

ИРКУТСКАЯ ЛЕТОПИСЬ
(Летописи П. И. Пежемского и В. А. Кротова)*

1818 г. 30 марта река Ангара против города раскрылась от льда, быв покрытою оным 94 дня.

28 апреля вскрылась от льда река Иркут.

4 мая скончался на 66-м году иркутский купец Николай Семенович Чупалов, имевший золотую медаль. Он построил каменный дом для гражданской больницы, каменную ограду вокруг Вознесенского монастыря и многое другое полезное. В духовном его завещании, между прочим, в 3-м пункте сказано: неотменно и без всякого прикосновения исполнить все в точности следующие пункты: 1-е, из получаемых с лавок доходов выдавать каждый год Вознесенского и Знаменского монастырей церквей, Богоявленской и Тихвинской церкви священникам и монахам с братиею каждой церкви, если доход с лавок не понизится, по тридцати руб., да сверх сего каждогодно выдавать в те же самыя церкви на свечи по 20 рублей. 2-е, из тех же доходов платить каждый год за Иркутское мещанское (общество?) сто рублей и цеховое семьдесят пять рублей. Духовное завещание писано на имя внука Ивана Михайловича Чупалова и засвидетельствовано в Иркутской палате гражданского суда 4 мая 1818 года за № 65.

6 октября р. Иркут покрылась льдом.

8 ноября в Иркутске исполнено по указу Святейшего Синода от 11 марта: Иркутская семинария открыта в новом преобразовании.

Владимирская церковь покрыта железом и выкрашена зеленой краской усердием иркутского купца П. Ф. Медведникова.

Соборной колокольни выкрашена крыша, на фронтоне которой написаны слова красками. Со стороны зап.: «Дом Мой дом

* Продолжение. Начало см.: «Сибирь» № 4—6, 1989; № 1—6, 1990; № 1, 1991.

молитвы наречется всем языком», с южн.: «Свят храм Твой, дивен в правде», с сев.: «Дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дней», в бывшую в 1823 году перестройку надписи эти уничтожены.

Освящен храм святого Трифона в келиях Знаменского монастыря.

В Богоявленском соборе в колокольне над папертью храм Иоанна Воина преосвященным Михаилом упразднен, в нем с 1821 года и по 1836 помещалась библиотека Иркутской семинарии.

8 декабря скончался Крестовоздвиженской церкви священник Алексей Колодезников.

28 ноября, в 8 часов вечера, луна видима была в кольцеобразных видах белого цвета.

12 декабря установилась санная дорога.

12 декабря уехал из Иркутска в Россию иркутский комендант, генерал-лейтенант Андрей Николаевич Сухотин.

1819 г. 8 января р. Ангара против города покрылась льдом.

2 февраля скончался Знаменского девичьего монастыря священник Алексей Сотников на 72-м году.

19 марта р. Ангара против города раскрылась от льда, быв покрытою оным 70 дней.

7 апреля в 6 часов 50 мин. утра — землетрясение.

10 апреля выехала из Иркутска за Байкал к Туркинским теплым водам губернаторша Агния Федоровна Трескина.

17 апреля р. Иркут вскрылась от льда.

8 мая в Иркутске получен указ от 22 марта о определении на место генерал-губернатора Пестеля тайного советника Михаила Михайловича Сперанского.

15 мая в Иркутске получено известие о смерти губернаторши Агнии Федоровны Трескиной, случившейся 9 мая, во время проезда из Верхнеудинска к Погроминским кислым водам, не доезжая их за 20 верст. С нею спутствовал Ефим Андреевич Кузнецов на воды и был личным свидетелем ее кончины. Лошади взбесились, опрокинули повозку, платье госпожи Трескиной запуталось в колесо, лошади понеслись во весь опор и убили до смерти госпожу Трескину.

25 мая в 9 час. утра при +10° пошел дождь потом, переменяясь в снежную слякоть при 0°, сделался чувствительный холод, пошел настоящий снег, покрыл улицы, кровли домов и горы. 26 числа не оставалось и следов весны; таял медленно, сошел снег 29 числа, не причинив вреда растениям; такого действия природы в это время иркутские старожилы не запомнят.

31 мая скончался настоятель Вознесенского монастыря архимандрит Павел Некрасов, погребен под алтарем церкви Смоленския Божия Матери.

1 июня храм Георгия Неокессарийского при Троицкой церкви освящен преосвященным Михаилом.

12 июня спущен на воду галиот «Николай»; по исправле-

нии оснастки, 26 числа уведен на Байкал.

20 июня пошли дожди, сделавшие наводнение, промыло на речке Ушаковке плотину мельницы; к Знаменскому монастырю через Ушаковку установлен карбасный перевоз, державшийся до 20 августа.

29 августа прибыл в Иркутск генерал-губернатор Михайло Михайлович Сперанский.

С 15 сентября пошел снег, с перемежкою продолжавшийся до 26 числа, засыпал не собранный на полях хлеб, который погиб безвозвратно.

3 октября река Иркут покрылась льдом.

12 декабря приехал в Вознесенский монастырь настоятелем и ректором Иркутской семинарии архимандрит Антоний из инспекторов Вологодской семинарии.

21 декабря р. Ангара против города покрылась льдом при 33° холода и при умеренной прибыли воды.

25 декабря, в день Рождества Христова, после литургии и молебна в биржевом зале открыто отделение российского библейского общества. Избраны директоры: преосвященный Михаил и генерал-губернатор Михайло Михайлович Сперанский; члены: стат. совет. И. С. Зеркалеев, стат. совет. И. Н. Корюхов, архимандрит Антоний, протоиерей Никифор Парняков, комендант Иван Богданович Цейдлер, коллеж. совет. Словцов, подполковник Нараевский, градский глава К. М. Сибиряков, купцы: Кузнецов, Трапезников, Саватеев.

28 декабря генерал-губернатор Сперанский угощал членов библейского общества обеденным столом.

1820 г. 1 января прибыл первый ездок из Забайкала по льду с известием о покрытии оного льдом.

15 января, в 12 часу перед полуднем, был благовест на соборной колокольне в большой колокол редкими ударами, по случаю привода к очистительной присяге Иркутского гарнизона жандарма Борисова, по доказательству на него о растлении им будто бы тринадцатилетней девицы результат этой присяги летописи неизвестен.

13 февраля генерал-губернатор Сперанский уехал в Кяхту.

28 февраля прибыла в Иркутск духовная миссия, следующая в Пекин, под начальством архимандрита Петра Каменского (он до поступления в монашество носил имя Павла Ивановича Каменского; в чине коллежского ассесора служил при иностранной коллегии переводчиком, был в Пекине с архимандритом Софронием студентом с 1794 года, возвратившись 1808 года 9 октября в Иркутск). Свиту его составляли иеромонахи: Марачевич и Даниил Сивиллов, иеродиакон Израиль, причетники: старший — Николай Вознесенский, младший — Алексей Исаков, студенты Иоасаф Павлович Войцеховский, Кондрат Григорьевич Крымский, Захар Федорович Леонтовский и

Василий Кириллович Абрамович. Выехали из Иркутска 23 июня в Кяхту.

7 марта Сперанский возвратился в Иркутск; был в Кяхте, Верхнеудинске, Нерчинске и Нерчинских заводах.

4 апреля река Ангара против города раскрылась от льда, быв покрытою 105 дней.

23 апреля р. Иркут раскрылась от льда.

26 апреля удар землетрясения в 6 часу утра, и того же числа к вечеру выпал снег, лежал полторы сутки.

30 апреля снег покрыл землю.

23 мая 1° холода, от которого позябли всходы огородных растений.

7 июня сломана по ветхости беседка, стоявшая на берегу реки Ангары, около сада; она построена была в 1804 году.

10 июня из Иркутска выехал в Тобольск отрешенный от дел и преданный суду бывший иркутский губернатор Иван Николаевич Трескин.

Вместо Трескина остался исправляющим должность губернатора вице-губернатор, статский советник Иван Семенович Зеркалеев.

13 июня от дождей наводнение в реках, вода заливалась в улицы города.

21 июня дождь, продолжавшийся до 23 числа, повторил наводнение, затопило сенокосные места и разнесло скошенное сено.

На 6 июля скончался соборный священник Иоанн Загоскин. 8, 9, 10 и 11 июля дожди повторили июньское наводнение сугубо; о чем 17 и 18 числа было церковное моление о безведрии.

27 июля закладка каменных казарм на углу Заморской улицы, прямо Крестовской церкви.

1 августа из Иркутска уехал в Россию генерал-губернатор М. М. Сперанский.

23 сентября заложена новая каменная кладбищенская церковь во имя входа в Иерусалим Христа Спасителя. Крестный ход из собора в сопровождении преосвященного Михаила, архимандрита Антония и духовенства. Преосвященный Михаил совершил литургию в старой кладбищенской церкви, учинено освящение с продолжавшимся колокольным звоном, градский глава Ксенофонт Михайлович Сибиряков угощал обеденным столом преосвященного, духовенство, дворян и купечество. Храм сей строился очень медленно и освящен в 1835 году 26 июля.

10 октября река Иркут покрылась льдом.

18 и 19 октября сделалось тепло, по улицам растаял снег, сделался разлив воды; такого позднего тепла и растаяния снега не бывало.

2 ноября пожар, истребивший дом цехового Володимирова в Спасском приходе; дом этот стоял с построения 80 лет.

6 ноября установилась санная дорога.

14 декабря прибыл в Иркутск на службу новый бригад-

ный командир, генерал-майор Алексей Михайлович Айгустов.

23 декабря река Ангара против города покрылась льдом; взвод воды был чрезвычайным, в Троицком приходе она вливалась в домы, в береговом обрубе напором льда переломало до 16 свай.

1821 г. 8 февраля из Иркутска выехал И. А. Словцов, распростившись с Иркутском навсегда, он был директором гимназии.

10 февраля в Иркутске показалась комета при захождении солнца с сиянием вверх без склонения и 15 числа стала невидима.

12 февраля ввечеру в Вознесенском монастыре пожар: загорела пристройка с севера, со стороны Успенской церкви, в которой была пекарня просфор; горели потолки, полы и кровля (церковь и пристройка каменные), угрожая опасностию и самой церкви, из которой была вынесена вся утварь, иконостас, св. иконы, многое с большим повреждением. В пекарне жил служитель Иван Безрукий.

28 февраля преосвященный Михаил выехал из Иркутска для обозрения епархии до Нерчинска и возвратился в Иркутск 9 апреля.

15 марта река Ангара против города раскрылась от льда, быв покрытою оным 80 дней.

26 марта первый дождь при +4°.

10 апреля показалась зелень.

18 апреля река Иркут вскрылась от льда.

30 апреля пожар в низовом предместье города за Знаменским монастырем истребил адмиралтейский складочный сарай и напротив его через улицу дома купца Николая Мыльникова и Степана Дудоровского при сильном с. з. ветре.

9 мая ввечеру первый гром и молния.

С 7 по 12 августа дожди сделали в реках Ангаре, Иркуте и Ушаковке наводнение.

7 августа преосвященный Михаил освящал у Благовещения под колокольнею храм во имя св. Сергия и Макария.

8 сентября в Иркутске получен указ из Сената от 4 августа о Высочайшем определении в Иркутске губернатором коменданта, генерал-майора Ивана Богдановича Цейдлера с переименованием в действительные статские советники.

24 сентября выпал первый снег.

26 октября река Иркут покрылась льдом.

1822 г. 5 января река Ангара против города покрылась льдом.

9 февраля преосвященный Михаил освящал Успенский храм в Вознесенском монастыре после бывшего пожара.

8 февраля губернатор Цейдлер уехал в Забайкальский край до Баргузина, 32 числа возвратился обратно в Иркутск.

10 марта в городе стаял весь снег.

13 марта река Ангара против города раскрылась от льда, быв покрытою оным 67 дней.

16 марта в Иркутске из земли показалась зелень.

29 марта река Иркут вскрылась от льда.

15 мая, в 4 часу пополудни пожар в Спасском приходе, в доме купца Саватеева, истребил флигель, сарай, завозню и амбары.

На 30 мая ночью пожар в Троицком приходе, близ Троицкой церкви, истребил дом губернского секретаря Карнышенкова и другой, соседний с ним, мещанина Сергеева; на церкви Троицкой горела крыша, осмерик и купол; колокольня и церковь другая, Григория Неокессарийского, чудесно сохранены.

1 июня преосвященный Михаил освящал Троицкий храм, после пожара малым освящением.

28 июня ректор семинарии архимандрит Антоний из Иркутска выехал в Пензенскую епархию на ту же должность — ректором семинарии.

10 августа в Иркутск прибыл вновь определенный генерал-губернатор Восточной Сибири, тайный советник Александр Степанович Лавинский.

18 августа прибыл в Вознесенский монастырь вновь определенный настоятелем и ректором Иркутской семинарии архимандрит Николай из инспекторов Тамбовской семинарии.

14 октября река Иркут покрылась льдом.

20 октября в Иркутске получен указ о преобразовании правления Восточной Сибири.

25 октября в Иркутске открыто главное управление Восточной Сибири.

26 октября в Иркутске открыт губернский суд.

10 ноября установилась санная дорога.

3 декабря генерал-губернатор Лавинский уехал в Красноярск, для открытия Енисейской губернии; 31 декабря возвратился в Иркутск.

29 декабря река Ангара против города покрылась льдом.

8 декабря освящен в Кузьминском селении храм местным благочинным собором.

1823 г. 25 марта река Ангара против города раскрылась от льда, быв покрытою оным 86 дней.

2 апреля — сильная буря, срывавшая с домов крыши, ломая заплоты и ворота и в окнах стекла. 6 числа того же месяца подобная буря опять повторилась.

10 апреля начаты работы по укреплению берега реки Ангары, инженером Александром Анисимовичем Медведевым.

15 апреля река Иркут вскрылась от льда.

29 апреля поставлен в биржевом зале портрет государя императора Александра Павловича, написанный во весь рост, подарок генерал-губернатора Лавинского.

4 мая спущен на воду вновь построенный бот «Михаил» при громе музыки и пушечной пальбе.

21 мая прибыл в Иркутск енисейский гражданский губернатор Александр Петрович Степанов; 6 июня выехал обратно из Иркутска в Красноярск.

15 июля начата ломка каменной палаты, стоявшей на берегу реки Ангары, которая построена была 1702 года. Она сначала именовалась приказною палатой, потом городовою канцелярией, с 1784 года палатою уголовного суда, и, наконец, тут помещалось уездное казначейство.

28 июня отправлялось молебствие в соборе, по случаю получения штата для духовенства.

9 июля обрушился свод вновь строящейся церкви на кладбище Входа во Иерусалим, не причинивши вреда рабочим; они в то самое время ушли обедать.

4 сентября прибыл в Иркутск путешественник, английской службы лейтенант Яков Гольман, слепец с 11 лет; замечателен тем, что, имея страсть к путешествию, объехал почти всю Европу, посетил Сибирь и Иркутск. Есть его записи об Италии, будто бы хотел описать Сибирь, но, кажется, это не исполнилось.

12 октября река Иркут покрылась льдом.

21 октября установилась санная дорога.

23 декабря посольский игумен Феодорит произведен в архимандрита.

26 декабря река Ангара против города покрылась льдом при 35° холода так ровно и гладко, что никогда не бывало, и возвышение воды было умеренное.

1824 г. 6 января генерал-губернатор Лавинский выехал за Байкал с флигель-адъютантом, полковником Александром Павловичем Мансуровым, в Нерчинские заводы и пограничные крепости. 11 февраля возвратился обратно в Иркутск.

27 января в Иркутске по указу Святейшего Синода открыто попечительство вдов и сирот духовного звания, по сему случаю из собора был крестный ход в консисторию для молебствия.

31 января 3 ч. 50 мин. утра землетрясение.

6 февраля в 6 часу пополудни виден летевший с облаков огненный шар и исчезнувший в воздухе.

1 марта начала покрываться новым тесом крыша Спасской церкви, работа окончена к концу месяца, стоящая 1200 руб.

2 апреля река Ангара против города раскрылась от льда, быв покрытою оным 98 дней.

12 апреля река Иркут вскрылась от льда.

15 апреля скончался протоиерей Никифор Тютяков.

В апреле месяце начали копать рвы под каменное здание ордонанс-гауза близ Тихвинской церкви. Все здание окончено постройкою в одно лето, и в конце ноября начали в нем жить.

15 мая начата разломка старой каменной ограды при церкви Прокопия и Иоанна, Устюжских Чудотворцев. Тогда же заложено новое каменное крыльцо

к церкви с деревянною надстройкой паперти к храму Михаила Архангела под колоколами, вся эта постройка окончена к 1 сентября 1825 года, а ограда сломана и более вновь и по сию пору (до половины пятидесятых годов тек. столетия) не построена.

8 июля сделана закладка церкви преосвященным Михаилом из каменного дома купца Ермолая Лычагова, строящейся его собственным капиталом.

19 июля начата разломка каменной соборной ограды для отнесения ее на две с лишком сажени внутрь, потому что берег реки Ангары укреплялся обрубом и нужно было оставить для проезда береговую дорогу; новая каменная ограда покончена к 1-му числу октября.

15 июля генерал-губернатор Лавинский из Иркутска уехал по кругоморской дороге в селение Култук, на реку Слюдянку и Хамар-Дабан и потом в Тунку, возвратился обратно в Иркутск 23 июля вечером.

24 июля в Иркутск приехал с Сибирской линии для осмотра войск дивизионный генерал, генерал-лейтенант Михайло Леонтьевич Булатов, 5 августа уехал обратно в Омск.

31 июля преосвященный Михаил отбыл из Иркутска на судне вниз по реке Ангаре во вновь присоединенную епархиею Енисейскую губернию; 14 октября возвратился обратно в Иркутск.

3 сентября скончался иркутский городничий коллежский ассесор Иван Григорьевич Брунер.

1 октября река Иркут покрылась льдом.

3 октября начата рассадка деревьев для публичного сада около Спасской церкви.

3 октября в Иркутске +4 $\frac{1}{2}$, а ввечеру 2 $\frac{1}{2}$° по Реомюру тепла, и от этого тепла река Иркут вскрылась и была открыта до 20 числа, в которое покрылась совершенно.

24 октября крестный ход из собора в Крестовскую церковь, по случаю освящения Троицкого придела, после бывших поправок.

30 октября скончался комиссариатской комиссии комиссионер 7-го класса Павел Иванович Робенфельд.

15 декабря в Иркутске получено с почтою известие о необыкновенном наводнении в 7 день ноября в С.-Петербурге.

В этом году закрыты сельские училища.

(Продолжение следует)

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Новые условия жизни нашей поставили и наш журнал в крайне трудное положение. Мы не смогли принять условий «Союзпечати», потому что они нам попросту не по карману. Но это не значит, что журнал не будет выходить.

Мы получаем множество писем постоянных и верных наших подписчиков с предложением помощи и со словами братской поддержки и выражаем искреннюю нашу признательность.

Начиная с 1992 года мы самостоятельно будем заниматься подпиской и рассылкой журнала за пределы Иркутской области. В Иркутской области подписка будет производиться через агентство «Союзпечать».

Мы не идем на повышение стоимости журнала, хотя цены на бумагу, типографские и почтовые расходы возросли более чем в два раза. И часть расходов по пересылке берем на себя.

Стоимость одного номера 1 руб. 40 коп. Подписная цена на год для жителей Иркутской области 8 руб. 40 коп., для других областей России 12 руб. в год.

Стоимость подписки переводится на наш р/счет или высылается почтовым переводом с указанием полностью домашнего адреса, фамилии, имени, отчества.

Мы также не откажемся и от пожертвований, которые будут использованы исключительно на дело развития сибирской литературы. Планируем также выпускать литературные приложения к журналу, на которые будет объявлена дополнительная подписка.

Наш р/счет в коммерческом банке «Азиатский» 000161701/000700532 МФО 125004 журнал «Сибирь». Почтовый адрес: 664000, Иркутск, ул. С. Разина, 40.

В 1992 году в журнале «Сибирь» читайте:

Окончание повести Николая Сиротенко «Явки не будет».

«Воспоминания о Царской семье и ее жизни до и после революции» Татьяны Мельник, урожденной Боткиной, дочери доктора Боткина, расстрелянного вместе с Царственными Мучениками. Публикуется впервые в нашей стране.

Исследование А. Селянинова «Тайная сила масонства». Публикуется впервые за годы Советской власти.

Статью великого русского мыслителя Ивана Алексеевича Ильина «Белая идея».

Статью русского эмигранта Н. Полторацкого «За Россию и свободу. Идейно-политическая платформа белого движения».

Окончание книги Сергея Нилуса «Близ есть при дверех». Продолжение «Иркутской летописи. 1857—1880 годы».

Жития, очерки о жизни святых русской Православной церкви Сибирских чудотворцах Иннокентия, первом епископе Иркутском, Софронии и Иоанне Тобольском.

«Сибирь — казачья сторона» — очерк о истории сибирского казачества, заместителя атамана Иркутского казачьего войска.

Очерк писателя Ивана Комлева «Куда ведут тебя, Россия?» — о разграблении наших богатств.

И другие произведения в прозе и стихах Кима Балкова, Валерия Хайрюзова, Любови Щедровой, Александра Семенова, Николая Соина, Николая Зарубина, Анатолия Горбунова, Александра Беляева, Михаила Трофимова, Григория Вихрова, Геннадия Гайды, Владимира Скурихина, Ростислава Филиппова и других.

Составитель В. В. Козлов
Художественный редактор
О. В. Беседин
Технический редактор Л. А. Жернова
Корректор Г. Ф. Клешнина

Рукописи не возвращаются и не рецензируются
Адреса редакции:
664000, Иркутск, ул. Степана Разина, 40, Союз писателей, тел. 24-56-76.
672000, Чита, ул. Богомягкова, 23, Союз писателей, тел. 3-45-78.

ИБ № 1758
Сдано в набор 14.03.91.
Подписано в печать 08.07.91.
Формат 84×108[1]/32.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 10,92.
Усл. кр.-отт. 11,18. Уч.-изд. л. 12,74.
Тираж 12000 экз. Заказ 1632.
Изд № 6431. Цена 1 р. 40 к.

Восточно-Сибирское книжное издательство Министерства печати и массовой информации РСФСР. 664000, Иркутск, ул. Марата, 31.
Типография издательства «Восточно-Сибирская правда», 664009, Иркутск, ул. Советская, 109.

1р. 40к.

СИБИРЬ

2'91

ЧИТАЙТЕ
в следующем номере:

В рассказах для детей
священника
ОЗДВИЖЕНСКОГО
«Моя первая
священная история»

родолжение романа

Кима БАЛКОВА
«Милосердие»

ександр БЕЛЯЕВ.
Норманская теория

Индекс 73380